

НЕ ВОРОТИШЬСЯ



НАДЕЖДА ЛАРИОНОВА

Мистика средней полосы

Надежда Ларионова

Не воротисься

«Издательство АСТ»

2023

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Ларионова Н. В.

Не воротишься / Н. В. Ларионова — «Издательство АСТ»,
2023 — (Мистика средней полосы)

ISBN 978-5-17-155620-4

Дочь Александры Федоровны пропала прошлым летом. Последний раз ее видели у железнодорожного переезда. Год спустя в поселке началось странное: сначала слышен треск, это хрустит еловый настил под чьими-то ногами, потом можно разглядеть глаза – две красные фары, как на переезде, только маленькие, будто полыхают. «Кособочка!» – шепчутся в поселке и бегут прочь. Может, это он забрал дочь Александры Федоровны? Никто не знает, откуда появился монстр и как с ним совладать. Сколько девочек пропадет? И что, если каждый в поселке может однажды стать монстром? В книге присутствует нецензурная брань!

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-155620-4

© Ларионова Н. В., 2023
© Издательство АСТ, 2023

Содержание

Мамочка	6
Чаюри[1]	17
Жених	29
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Надежда Ларионова

Не воротисься

© Надежда Ларионова, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

* * *

В память о Вере Л.

Мамочка

– Женщина! – взвизгивают над ухом.

Александра Федоровна отрывает руку от разложенных радугой турецких маек и поднимает глаза. Продавщица с малиновыми губами нависает над ней. Таращится.

– Женщина, вы брать будете? А?

Александра Федоровна мотает головой.

– Ходят тут, ничего не покупают: «Мне просто посмотреть», – пискляво выговаривает ей продавщица и оттесняет от прилавка.

«Помада размазалась», – думает Александра Федоровна, глядя, как продавщица дует губы и ревниво поправляет бирки.

Вещевые ряды пахнут дерматином и обувным клеем. Александра Федоровна морщится, но не решается прикрыть нос. Только подтягивает хозяйственную сумку к животу и обхватывает обеими руками. Она идет медленно, покачиваясь по-утиному, а под брезентом бряцают два медных подсвечника. За вещевыми рядами – открытые прилавки с заграничными помидорами, розовощекими, налитыми и такими до неприличия дорогими, что Александре Федоровне становится тяжело дышать. Она сдвигает берет со лба, утирает лицо и морщится от ворсинок, попавших с перчатки в нос. К запаху помидорной ботвы примешивается плесневый душок. Так пахнет в подвале, куда она спускается за своими скромными припасами. Спускается, осторожно ставя ноги на шаткие перекладины, – как бы ногу не подвернуть, не ухнуть вниз, ведь если ухнет, кто ее искать-то будет? Некому теперь. Александра Федоровна пересчитывает пузатые банки с огурцами, плавающими в мутноватом рассоле, берет из ящика пару подернутых коркой льда картофелин, выбирает пару сморщенных свекольных голов и карабкается назад в едва натопленную кухню. На чай тоже копейки лишней нет, пьет горячий кипяток – чтобы внутренности согреть. Варит постный свекольник и вспоминает Толстого с его вегетарианской диетой.

– Супчик жиденький, но питательный, – слышит Александра Федоровна присказку покойного отца. – Будешь маленькой, но старательной.

Александра Федоровна будет старательной. Нужно дожить, дотянуть до тепла. После долгой зимы на полках осталось немного. А там и на крапивных щах...

* * *

– Р-рав! – прыгает на Александру Федоровну грязно-белая болонка, выскочившая между рядами.

Подсвечники в сумке звякают, напоминают. Александра Федоровна протискивается через толпу у ларька с забугорным тряпьем.

– Финские куртки за полцены, только сегодня, граждане, не теснимся, хватит на всех!

Проходит вдоль обшарпанной стены павильона и останавливается у подвала старьевщика. Не успела. Дверь заперта на навесной замок.

– Они закрыты сегодня, – констатирует из-за спины голос с южным акцентом. – В воскресенье приходи – тогда другое дело, целый день работать будут.

Александра Федоровна хочет ответить, что ей воскресенье не подходит: как можно, в воскресенье – на рынок. Но осекается. В воскресенье, так в воскресенье. Никакой разницы.

– Дай бог здоровья, – отвечает она не глядя и идет к выходу. Подсвечники оттягивают руку. Мелодично стучат друг о друга, напоминают Александре Федоровне воскресный зов к заутрене.

* * *

С платформы, пошатываясь от резкого мартовского ветра, спускаются пассажиры городской электрички. Хлопают полы плащей, кто-то вправляет спицы вывернутого зонтика. Спицы щелкают, не желают вставать на место. Александра Федоровна сходит с тротуара на мостовую, где толпа разделяется на две части – поворачивает на Ленина или замирает пестрой стайкой на переезде. Ветер с путей налетает с новой силой, и Александра Федоровна вцепляется в берет. И не опускает руку, пока не поскользывается на деревянном настиле и не хватается за чей-то грубый бушлат. Владелец бушлата охает и съезжает ботинком в жирную придорожную грязь. Оборачивается на Александру Федоровну и недовольно выдергивает локоть.

Толпа дружно переходит пути и направляется дальше по улице, а Александра Федоровна замедляется, ждет, когда парни на углу докурят, вотрут в асфальт бычки. Прикрывает нос платочком, озирается и сворачивает направо. Под соснами синее нерастаивший снег. В сером пальто и сером берете ее почти не видно с дороги. И даже стоящие на платформе не обратят внимания на крадущуюся тень в лесополосе. Иголочки налипают на блестящие носы галош, но Александра Федоровна не останавливается. Не решается отереть их о снег или сойти на брусчатку. Рано еще, до фундамента дойти надо. Она идет почти вплотную к платформе, возвышающейся над землей на бетонных сваях.

– Не будешь слушаться – Кособочка утащит!

Александра Федоровна поднимает голову и видит два столба в синих резиновых сапогах и рядом парочку маленьких, ярко-желтых. Из желтых растут тонкие девчоночьи ножки в белых рейтузах. «Бах-бах», – топают они по снегу. А потом поскользываются, плюхаются в талую жижу. Девчоночка вскакивает на ноги, но уже поздно. По рейтузам расплываются два пятна. Звонкий шлепок разносится от платформы и следом – тонкий рев.

– Утащит! – Шлеп, шлеп.

Рев сливается с отвратительным звоном. Александру Федоровну передергивает. Она жмет к соснам и замирает: тренькает закрывающийся переезд. Загорается красным глаз светофора.

– Утащит, утащит... – шепчет Александра Федоровна. Жмурится и быстро отходит прочь, от платформы, от ревушей девчонки.

Фундамент серой могильной плитой вырастает из травы. Александра Федоровна падает на колени перед ним, утыкается взмокшим лбом в рыжую, торчащую из снега траву.

* * *

Полгода прошло, как она сидела на этом же месте. Сжавшись, нахолившись под начинающимся дождем. Галоши глубоко увязли в черной жиже, но Александра Федоровна не замечала ни дождя, ни того, как коченеют пальцы на ногах. Только водила ладонью по заросшему бетонному краю и смотрела, как кусочки лишайника осыпаются в грязь. Сгоревшие поленья давно растащили на дрова. Остался только серый, треснувший в центре, бетонный зев. В глубине, где был заложен подвал, хлюпала вода, и возилась окотившаяся полосатая сволочь. Александра Федоровна слышала, как она мяукает, собирает выводок по углам. Александра Федоровна обернулась: «Кыш!» – и встретила с желтыми дикими глазами. Кошка зашипела на нее, Александра Федоровна чуть не зашипела в ответ: тарачиться на меня вздумала, но...

Воздух разрезал стон. Потом еще и еще. Александра Федоровна не сразу поняла, что звук доносится не с платформы – слишком далеко. И не из леса. Стоны раздавались со стороны путей.

По земле будто пробежала судорога. Александра Федоровна встала и побрела на дрожь, на зовущие стоны.

Поломанные ветки. Черный запекшийся след на траве. Он тянулся по склону в мазутно-блестящую лужу. Александра Федоровна зажмурилась. Но заставила себя посмотреть.

След вел к телу, распластанному, раздавленному, будто бабочка на дороге. Сломанный зонт борщевика закрывал лицо. Где-то под зубастыми темными листьями дергались руки – Александра Федоровна видела только израненные багровые ладони. Стертые о брусчатку локти были неестественно вывернуты. Александра Федоровна подошла к неподвижным, раскинутым ногам. Белый край кости торчал из порванной на бедре штанины.

Снова не стон, а отзвук стога завибрировал в воздухе. Она потянулась к листьям. Но тут тело вскинулось, руки взметнулись вверх, будто кто-то дернул за них, и Александра Федоровна отшатнулась, упала на спину. А тело вытянулось над ней и заглянуло в лицо.

У самого тела лица не было. Под изломанными поднятыми руками, под взлохмаченными окровавленными волосами не было ни-че-го. Был черный скальп, черная зубастая пасть. И глаза. Боль вытекала из них – нечеловеческая, выдернутая из тела, как суставы, как белые края изломанных костей. Боль, которую она услышала, почувствовала разливающейся по железно-дорожной полосе.

Пасть растянулась, искривилась жалобно. И из нее тонко-тонко, знакомо так:

– Мамочка...

Александра Федоровна попятилась, цепляясь пальцами за склизкую холодную землю.

– Верни меня, мамочка! – позвал тоненький голос.

Александра Федоровна завозила руками, ища за что ухватиться. Тело двигалось на нее, вращало глазами. Руки опали и плетью свисали вдоль залитого кровью туловища. Выдернутая бедренная кость щелкала на каждом шаге, вправляясь и вновь высовываясь из раны.

В спину уколол сучок тополя, повалившегося при пожаре, Александра Федоровна рывком поднялась, перепрыгнула ствол и побежала. За спиной ныло шатающееся тело, звало тоненьким знакомым голосом, Александра Федоровна зажала уши, но все равно слышала за спиной надрывное:

– Ты можешь вернуть меня! Мамочка! Мамочка!

* * *

Над головой со свистом проносится птица, и Александра Федоровна дергается и оглядывает железнодорожные пути. Слушает, как сосны трутся ветками на ветру и стучит удаляющаяся электричка. Александра Федоровна встает с колен и поворачивает к поселку.

Кривая. Кособокая. Кособочка. Тень между соснами, то ли чудится, то ли вправду стоит – башка набок, руки-крюки, ноги колесом, дергаются отвратительно, будто у опрокинутого на спину жука. И глаза, у-у, страшные, тарашатся. Первыми его заметили пассажиры вечерних электричек.

Александра Федоровна стояла с ними на переезде. Один мужчина, высокий, с тонкой черточкой усов под массивным носом, утверждал, что Кособочка вылезла из леса, как только электричка остановилась, – он с отцом на лося ходил, у него глаз набит, сразу заметил, что тварь какая-то из чащи вылупилась на него и следит. А потом тварь эта за ним до самого дома чапала. Только вот собаки испугалась и дригнула восвосяи.

Другой, нахохленный, в фуфайке до самого носа. Нос был свекольно-красный, лоб взмокший, и пахло от него совсем не одеколоном и даже не трудовым потом. Так вот он божился, что тварь шарилась у перрона аж в Сиверском. А потом, видимо, зацепилась за приступок или даже припрыгала на своих корявых лапах с чудовищной быстротой, так что, когда он вышел

в поселке, она уже была тут как тут и зыркала на него дико, хищнически, но подойти близко не решилась.

Александра Федоровна вздохнула тогда с облегчением – по крайней мере, она людей не трогает.

Переезд вновь закрывается. «Твиньк-твиньк», – отзываются всполошившиеся в кронах сойки. Кособочка выходит в сумерках. Сначала слышен треск, это хрустит под ее ногами еловый настил. Потом можно разглядеть глаза – две красные фары, как на переезде, только маленькие и будто полыхают. И после, если ты, дурак, сунешься ближе, увидишь, как она корчится между соснами, как она раззявит пасть и завоет:

– Ма-а-а! У-у-у-ма! – и давай раскачиваться, припадать на одну ногу, подпрыгивать к путям.

Кто знает, что случилось, когда один бывший ученик, Вова Барашкин, или Баранов, его еще дразнили Бяшей, оказался у Кособочки на пути. Только дружки его, раздавившие бутылку на троих на новом перроне, услышали страшный треск в кустах и крики.

И дружки его сбежали. Бросили и дали деру. Александре Федоровне было стыдно за них. Она их такими не воспитывала.

А потом Бяшу нашли со свернутой шеей. Кучерявая голова смотрела за спину, как самому повернуть нельзя. Руки-ноги вывернуты сгибами наружу. Вместо Бяши между веток рябины висела сломанная шарнирная кукла.

– Мамочка, мамочка, – снова чудится Александре Федоровне, она оборачивается – не глядит ли черная тень из-за сосен. Но нет. Электричка пронеслась мимо, оставляя Александру Федоровну в мертвой тишине со звоном в ушах.

Следом пропали белорусы. Сразу трое – безымянные рабочие в одинаковых футболках с синим «abibas». Имена никто не запомнил, но в последний раз видели их на завалинке у свежесложенного сладко пахнущего смолой соснового сруба. Строили дачу отцу Геннадию. От отца Геннадия об их судьбе и узнала. Пошла в лавку просфоры покупать – а там он стоит. Брови хмурит, на службу ругается. Она ему: «Батюшка, отец Геннадий», – и давай просить, чтобы место на кладбище собрать помог, на хорошее, под березонькой. А отец Геннадий еще сильнее нахмурился и говорит: «Да уж мне и самому пригодится теперь, на три собрать надо». Ну а после службы все только и говорить стали, как о белорусах. Куда пропали, за пивом ушли, что ли, или на рынок? И как так вышло, что через неделю соседи увидели – собаки дерутся, носятся по всей улице с чем-то то ли окровавленным, то ли костяным в зубах. Проследили и нашли три искореженных трупа в сиреневых кустах. У одного как раз левой кисти не доставало.

Галоши хлюпают по снегу – наверное, те, кто на платформе, могут подумать, что она и есть Кособочка. Александра Федоровна даже хихикает и тотчас зажимает рот рукой – какие пальцы холодные, срочно за пазуху, и по приходе домой ноги в таз с горячей водой, под плед и пропотеть.

Перелесок остается за ее спиной, Александра Федоровна выходит на дорогу и щурится от яркого белого света. Солнце просвечивает через слой облаков, как через мутное стекло. Небо – белая перьевая подушка, придавившая лицо, заглушающая рвущийся наружу крик.

Ветер дует ей в спину, подгоняет Александру Федоровну до самого храма, пока она не ныряет в сухое, медом пахнущее храмовое нутро. Александра Федоровна юркает в притвор, где стоит чан для крещения, где в полутьме горит лампадка у иконы Казанской Божьей Матери. Утыкается лбом в позолоченный край рамы. Молится тихо, почти не дыша, боясь посмотреть в светлый лик:

– Богородица, заступница, видишь мою беду, видишь мою скорбь, помоги мне!
Молится, пока совсем уж нестерпимо не начинают ныть суставы.

* * *

Подъем в горку дается ей тяжело. Дом стоит на возвышенности, на рыжем, поросшем соснами обрыве. Забор давно стек по склону вниз, к берегу. А за забором – Оредеж, холодная, порожистая, с шаткими рыболовными мостками и обнесенными рабицей заводами летних лагерей. Крыльцо завешено бурым шерстяным покрывалом, чтобы краска на двери не выцвела. Кое-где ткань проела моль, и через дыры пробиваются тонкие лучики света. Александра Федоровна садится в тени, прислонившись к дровнице спиной, и пытается отдышаться.

«Мамочка, мамочка, ма-ма...» – пульсирует в ушах. Страшное, потустороннее «мамочка». И другое, которое слышала столько раз. «Мамочка, мамочка», – Тата висит на подоле, хнычет, морщится и указывает пальцем на застекленный сервант. Там, в фарфоровой сахарнице, спрятана ее соска. Тате уже третий год, в садик ходит и сама одевается, а на сон все равно «пососькать» просит. Александра Федоровна закрывает глаза и сдерживается, чтобы не накричать на нее. Детской скулежки ей и на работе хватает. Тата тянет и тянет на одной плаксивой ноте, но Александра Федоровна понимает, что слышит уже не ее, а заунывную поминальную панихиду. Панихиду, которую не спели по Тате. Отказались петь.

«Не отпели, отвели от Господа», – Александра Федоровна сползает по стеночке, под ладонью холодная, влажная доска. Тате пять, и она сама взобралась на дровяник. Глаза блестят, как у кошки, ручки вцепились в шиферный край. «Татьяна, спускайся немедленно! Я тебе сейчас!» – слышит она свой голос, такой звонкий, молодой и разъяренный. Ну а как иначе, шифер хилый, дешевый, проломится как пить дать. Тата хохочет, заливается, не знает, какая волна поднимается там, внизу, внутри ее матери, волна, которая захлестнет ее, их обеих, захлестнет с головой. Как Тата будет уворачиваться, жаться по углам, кричать жалобно: «Мамочка, мамочка!» А мамочка будет пропускать ее крик мимо ушей.

Веки тяжелеют, в голове гудит. Александра Федоровна зажмуривается и видит Тату в полутьме сеней. Тата возится с застежкой на туфле. В августе темнеет рано, и Александра Федоровна различает только ее беленькую макушку и ровный пробор. «Запаздываю опять, мамочка. Не сердись». На Тате белая блузка, слишком нарядная для ночной смены. Александра Федоровна не отвечает, поджимает губы и хлопает дверью в дом. Тата, Тата – отличница, Тата – гордость своей мамочки, школы, поселка – снова торопится просиживать юбку за кассой.

Татиного лица она больше не видела. И не видела, как на лоб ее, холодный и белый, кладут белый платочек для прощания.

Александра Федоровна обхватывает голову руками, она вся в снегу. Поднимает глаза – с неба сыплются крупные хлопья, похожие на куски булки, которые кидают голубям на церковном дворе.

* * *

Кипяток шипит, наполняя белую чашку с розой на боку и золотой каемкой. В последний раз попить из любимого сервиза – кабы знать еще, сколько за него дадут.

Это, нечто, черное и мертвое, шатающееся по лесам, разве оно может быть Татой? Это бесовщина, это тварь, Кособочка, а Тата... Вдруг ее и вовсе не было в ту ночь на вокзале? Разве Тата, ее снегурочка?.. Чтобы не нашли ни одной целой косточки от нее, ведь и косточки достаточно, чтобы похоронить.

В ту летнюю ночь она проснулась, когда едкий дым просочился через открытое окно в спальню, пощекотал ноздри. Александра Федоровна вскочила, побежала к плите – выключена. К утюгу – черная вилка свисает с доски, поблескивая серебристыми кончиками. Мазнула

взглядом по полу, по стенам, нигде не было огня, хотя запах дыма слышался все отчетливее. Краем глаза заметила, что дочери нет на софе. И софа стоит собранная, гладкая.

– Тата, ты куда запропастились, Тата! – голос со сна был жесткий, охрипший. И вдруг Александра Федоровна замерла у окна. Столб дыма высился над крышами соседних домов. Что-то екнуло у нее внутри тогда, укололо сердце тонкой булавочной иглой. Александра Федоровна прямо в тапочках выпрыгнула в росу.

Дым стелился по поселку. Александра Федоровна вцепилась зубами в рукав сорочки и побежала к калитке.

Когда она добралась до путей, у переезда уже толкались люди. Красно-черное пожарище урчало, как взбешенный медведь. Через стрекот и улюлюканье толпы Александра Федоровна услышала вой приближающейся пожарной машины. Машина пронеслась мимо, едва не задавив парочку полупьяных зевак. Но стоило машине проскочить за переезд, толпа вновь сомкнулась. В ней нарастало недовольство.

– Лей! Еще лей, больше воды надо!

Александра Федоровна утерла рукавом глаза. И закрыла лицо руками. Из груди у нее вырвался хриплый то ли стон, то ли... Александра Федоровна расхохоталась, утробным, рычащим смехом, внутри у нее пульсировало – уже поздно. Уже поздно!

– Твоя? Твоя там?

Александрю Федоровну затрясло, она обхватила себя руками, попятилась и села на камни у дороги.

Она не обращала внимания на собирающихся вокруг нее. Голова ее налилась тяжестью, сердце медленно протыкала игла. Александра Федоровна не сопротивлялась. Опустила голову на руки и стала качаться – туда-сюда, туда-сюда.

* * *

На губах становится больно, солоно, и капелька крови падает на белый фарфор. Кап. И новая капля бежит по подбородку и падает в кипяток. Окрашивает в нежный розовый цвет. Александра Федоровна зажимает ранку большим пальцем и выплескивает кипяток в горшок со спатириллумом. Желтые листики вздрагивают. Несколько засохших падает на подоконник, и Александра Федоровна сгребает их в кулак. Давно надо было на мороз выставить. Только труху с него убирать. Зря его Тата со школы притащила. Хотя у нее цветы хорошо росли. Легкая рука. А этот – особенно. Даже цвел неприличного вида белыми цветами.

Александра Федоровна снова проходит по подоконнику, по столу и принимается осторожно, тонкой хлопковой тряпочкой, перебивать сервиз. Золотые каемки и лепестки роз на чашках сияют в электрическом свете. Радужно переливаются блюдца и бока сахарницы, чайника и молочника. Весь набор. Жаль только, одна чашечка выбивается, выглядит Золушкой среди своих ни разу не использованных за двадцать лет подруг. Это тоже Та-тина работа. Надо ж было из всего шкафа выбрать именно ее. Фарфоровую чашечку из ГДР. Тонкую, звенящую, как сама Тата, как нежный ее голосок.

Тата – птичка, головушка набок:

– Можно, мамочка?

– Дорогой сервиз, бабушкин, Тата, ругать буду, если разобьешь.

– Не разобью, мамочка.

Не разбила. Только стерлось под ее губками золочение. Радужный лак на ручке пооблез.

Александра Федоровна протирает чашку и возвращает обратно на полку. Пусть дешевле уйдет. Некомплект. Но эту – не продам.

* * *

Некомплект и правда ушел дешево. И подсвечники медные. Антикварные – думала Александра Федоровна. Уж больно мать их ценила.

– Начало века, да еще и с зеленцой, – покачал головой старьевщик, но быстрехонько нашел подсвечникам место на стеллаже рядом с патефоном с ржавой ручкой, пыльными рядами хрусталя и корявым, безобразным чучелом белки.

– Так медные же... – попыталась возразить Александра Федоровна и осеклась. Она сейчас выглядит хуже цыганок, клянчащих у церкви в воскресное утро. Они хотя бы крестятся и просят на хлеб. А она на что просит? На достойное упокоение дочери? А если все правы, если она и правда уехала? Да, бросила ее, зато живая, и голос Таты льется из ее собственной груди, а не из пасти какой-то бесовской твари...

– Торговаться изволите или по рукам? – Старьевщик смотрит на нее искоса, один глаз сонный, прикрытый, как бывает у старых часовщиков.

Александра Федоровна пересчитывает сальные бумажки. Слишком мало. Все еще слишком мало, чтобы заставить их искать, получше искать.

Дверь в подвал старьевщика хлопает за ее спиной. И Александра Федоровна набирает воздуха в грудь. Ну ничего, пусть Тата не волнуется. Мамочка соберет ей и на место на кладбище, и на крестик хороший, и на панихиду. Всех их заставит признать – плохо искали, раз не нашли, что в гроб положить.

* * *

Калоши чавкают по размытой обочине, подол серой шерстяной юбки покрывается черными грязными брызгами. В ветре чувствуется прелый вкус мокрой земли, горьковатой первой зелени – Александра Федоровна ходила в выходные в лес, собрала молоденьких еловых лапок. Хороший сироп сварить можно, подлечить связки, измученные за долгий учебный год.

Шлагбаум медленно, скрипуче поднимается, пропуская Александру Федоровну.

– У-у-ма, – со стороны леса воеет то ли ветер, то ли высокий, с полсосны, черный силуэт. – Мамочка, мамочка, ма-а!

Александра Федоровна хмурится и отворачивается, смотрит в голубое небо между двумя полосами леса по сторонам. Ускоряет шаг.

– Мамочка, ты верни меня. – Щупальца тянутся к ней из тени, и голос становится громче, ветер доносит его, льет в уши, громче и громче, как бы Александра Федоровна ни бежала, ни затыкала уши пальцами.

– Ума-а-а!

Левое колено будто пробивает стрела, Александра Федоровна валится в серые сугробы, оставшиеся от расчистки дороги. Кровь стучит в ушах, и в такт сердцебиению настойчивый голос повторяет:

– Ты найди мне девочку, мамочка. Приведи мне ее, мамочка. Я в ней жить стану. Ма-а-а...

* * *

Дверь в учительскую приоткрыта. Александра Федоровна стоит еле дыша. И наконец между неразборчивым шепотом различает голос Искры Семеновны. Тонкий, манерный, как у зайчика из «Ну, погоди!»:

– А я говорила! Такие, как Шура, зажмут дитю в щипцы и тянут, тянут, пока дитя не вырвется-то, не ускачет куда глаза глядят!

– Пускай ускакала. Но совсем уж мать без вестей оставлять?

Это уже басок нянечки Ириши. Ириша шваркает тряпкой, стучит ей об ведро. «Сейчас пойдет воду сливать», – понимает Александра Федоровна и собирается было отступить.

– Вам бы дай повод молодежь критиковать. Я другого не понимаю. Как можно было заку- рить...

– А это разве точно известно?

– Точно-точно, у меня невестка в органах работает. Она говорит, такие дела поджогом по неосмотрительности называют. Сигаретку кинула и свинтила, жизнь новую строить. А нам теперь снова без вокзала, в грязи и под дождем куковать.

Александра Федоровна слышит, как другие, более тихие, неразборчивые голоса подда- кивают ей, да, страшное дело, вон какие зимы пошли, по полгода. Да еще и эта ходит, тьфу, кто черта помянет...

– А я не боюсь называть вещи своими именами! Нет, не спорьте, Анна Леонидовна.

«Понятно, и завуч с ними заодно, ехидна», – думает Александра Федоровна. А она ведь ее младшей поступить помогла.

– Лучше почитайте прессу, западную. – Анна Леонидовна издает возмущенный всхлип, но на нее никто не обращает внимания. – Я вот читаю. У них, в Штатах, чупакабра. Хищник такой, новый.

А у нас, эта, как вы ее называете, Кособочка. Про Федотыча слышали?

Александра Федоровна делано кашляет, топчется перед дверью и заходит, будто бы не ей косточки сейчас всласть перемыли. Они тотчас оборачиваются, улыбаются покрашенными губами, все четверо, даже Маша, новенькая учительница ИЗО, выпустилась три года назад, троичница, но накалякать под Репина умеет. И наперебой, с деланным же ужасом рассказывают про несчастного сторожа Федотыча – не старый был мужик, жалко. Почерк тот же, голову отвинтили, руки сломаны в трех местах, ноги – коленками назад вывернуты.

Ириша наконец уходит споласкивать тряпку, Машу призывают налить Александре Федо- ровне чаю, усаживают, хлопчут. Заварка крепкая, почти черная, видно, давно сидят тут, всю большую перемену. Александра Федоровна отхлебывает горькую жижуху и хочет спросить, а что же, кумушки, не хотите рассказать, куда ускакала моя дочь? Раз и в школе теперь за спиной слышен злой шепоток: «Вокзал подожгла, антиобщественница». А хотите, я сама расскажу, что поджог якобы со стороны кассы, точно не проводка, так как щиток и вовсе не работал в ту ночь, поломка была на линии. И кто ж еще, как не Тата, мог его устроить? Она ведь кассу закрывает, последняя уходит. А как поняла, что натворила, слиняла! Так выходит? Лучше в лицо швырните, по-свойски, зато честно. Как Нюра, двадцать лет уже соседка, забор в забор. Нюра, беззастенчиво выгуливающая своих коз под ее окнами. Чуть не плюется, когда видит Александру Федоровну, шипит: «Твоей, значит, можно нашенскую собственность сжигать, а мне твою капусту беречь надо? Дудки, а коли не нравится, иди жаловаться в сельсовет. Но ты не пойдешь, так ведь, Алесанна Федорна? Никто тебя теперь слушать не станет. Все знают, что Татьяна твоя курила на задворках, а тут, видать, совсем обнаглела, смолила прямо у кассового аппарата, да и уснула. И ладно бы сама сгорела, так нет, сама – тю-тю, улетела пташка. А весь новехонький вокзал дотла. Будто его и не было», – заключила Нюра и даже калитку за собой не затворила, пошла прочь со двора, качая толстым задом. И козы медленно, нехотя, побрели с капустных грядок за ней.

Александра Федоровна давно унюхала от дочери запах табака. Раз за разом находила мятые сигареты в ее кошельке. В потайном кармашке сумочки. В корешках ее странных, явно не из поселковой библиотеки, книг. Но молчала. Оставляла за ней эту тайну, может, потому что других у нее не было. А может, потому что, представляя, как Тата прячется под козырьком

служебного входа, думала об ее отце. Как он стоял, облокотившись на огромное, пахнущее резиной и солнцем колесо «сороковки», и смотрел вбок, сурово так, исподлобья, а потом вдруг вспоминал про нее, оборачивался и заливался густым грудным смехом. Только когда Александра Федоровна обтянула незаметный еще в складках платья живот, он не рассмеялся. Брови его так и остались сомкнуты над переносицей. Брошенная сигарета подожгла скошенную траву, и тонкая змейка дыма заструилась между ними. Они принялись топтать траву, одновременно, как по указке. И это было последнее, что они делали вместе.

* * *

Черное, мертвое звало и звало Александру Федоровну. Шаркало за ней до самой кромки леса.

И когда она перебралась через рельсы и обернулась на него с другой стороны железной дороги, оно тянуло руки и ныло Татиным голосом. Александра Федоровна побежала к храму, упала у калитки на колени и разрыдалась.

«Дин-дон, дин-дон, дили-дили-дон», – от колокольного перезвона у нее вибрирует все внутри. Мимо проходят люди. Спешат на вечернюю службу. Ноги в черной грязи по колено. Белье платки. Край шерстяной шали прилетает Александре Федоровне по лицу. Но никто не обращает внимания – очередная оборванка клянчит копеечку. Александра Федоровна поднимает глаза на фигуру в шали. Сальная гулька волос, золотые серьги в ушах. Юбка в пол, оборки метутся по снегу. Рядом, как цыплята, топчутся оборвыши лет пяти. Через пару лет приведут их к ней в класс. И прикажут – учи, а они будут только лялякать на своем. Александра Федоровна скрипит зубами и через силу поднимается на ноги. Оборачивается на золотой крест, осеняет себя знаменем. И, дрожа от холода, уходит в сумерки.

* * *

Входная дверь всхлипывает и пропускает ее в холодные сени. «Бог убережет», – говорила она Тате. Под замком тайное надо держать да ценное. А Тата хоть на ночь просила на щеколду запирается.

– Ценное Бог и забрал, а чем пренебрег, – Александра Федоровна оттирает галоши от мартовской грязи и посмеивается, – то я сама распродам, по копеечке да по копеечке.

Половицы поскрипывают, пока она выуживает из-под лавки тапочки и натягивает их на припухшие ноги. Идет мимо опустевшей этажерки. Книги и те распродать пришлось. Какие в библиотеку приняли, а какие по соседям раздала.

Комнату заливают теплый закатный свет. На полочках, где когда-то стояла ее коллекция фарфоровых птичек – ласточек с сизыми крыльями, голубков с золочеными клювиками, расправившими крылья стрижами, сидящими на зеленых толстых ветках, – теперь ничего не осталось, только фотографии. И стопка красных выпускных альбомов – лица, лица, лица, юные, распахнутые, лица ее учеников. Каждого помнит – по имени, по среднему баллу, по характеристике. Анечка Зубарева, 4.2, хорошая девчонка, жаль, лодырничала весь десятый класс, пошла в продавщицы. Андрей Волох, 3.8, ветер в лопухой голове, ну и ладно, зато в жизни устроился, видела его тут на станции, курил с мостков машинистских. Закричал, замахал ручищами своими: «Ба, Александра Федоровна, а я женился, двойня у нас, мальчики, дай бог здоровья, еще к вам в класс попадут!» Александра Федоровна вздрогнула, представив сразу двух громких Волохов, скачущих между партами. Махнула ему, улыбнулась через силу и поспешила запрыгнуть в первый вагон.

Александра Федоровна обводит взглядом альбомы с чужими детьми. Навечно маленькими на мелованных страницах. А теперь уже взрослых. Заматеревших. Расплодившихся.

Смаргивает слезы и утыкается в черно-белое фото. Из тонкой рамки на нее внимательно смотрит Тата. У Таты взбитый модный боб и завитая челка. Александра Федоровна прикрывает глаза, и ей чудится запах паленых волос, доносящийся из Татиной спальни. В голове гудит, и она бредет, опираясь об стену, на кухню, забивается в теплый угол у батареи. Здесь Тата любила сидеть. Сначала на детском высоком стульчике. Размазывала творог по оконному стеклу. Потом на подоконнике, оперев подбородок на острое, подтянутое к груди колено. «Придатки застудишь», – говорила ей Александра Федоровна. И Тата вздыхала и сползала на табурет.

Александра Федоровна отрывается от батареи. Складывает в котомку икону Богородицы, свечу, бурую, восковую, пахнущую летним, заросшим школьным двором, и кажется ей, что свеча плавится в руках. Александра Федоровна смотрит на пустой, разграбленный красный угол. Кисти на рушнике чуть подрагивают.

– Надо форточку прикрыть, – напоминает себе Александра Федоровна.

* * *

На Ленина не горят фонари. Только внимательный красный глаз светофора на переезде предупреждающе вспыхивает, когда Александра Федоровна подходит к путям. Она крестится и переходит, надеясь, что все-таки услышит свист приближающегося поезда.

Поезда нет. И Александра Федоровна, спотыкаясь, бредет по насыпи. У фундамента снега еще много, так что ноги проваливаются под хрустящую льдистую корку. Александра Федоровна расправляет полы пальто и садится у полусгнившего тополя.

Кособочка появляется затемно. Александра Федоровна видит ее темный вытянутый силуэт между сосен.

– Мапочка, мапочка, – пищит она Татиным голосом и устремляется к ней.

Александра Федоровна достает икону, но Кособочка даже не замедляется. Шлепает мимо тополя и вперяет в нее горящие глаза.

Александра Федоровна стискивает зубы и поднимается. С силой выталкивает перед собой икону – руки заиндевели и почти не слушаются. Кособочка издает недовольный скрип и отшатывается.

– Ты хочешь избавиться от меня, мапочка?

Александра Федоровна заставляет себя кивнуть. Черная вытянутая рожа, глаза и рот еще глубже запали в череп, а руки вытянулись, будто... щупальца? Это не ее Тата, не ее дочь.

– Я тебя не признаю.

Черные щупальца вздрагивают. Кособочка взывает и расплывается по земле.

– Ма-а-а! – Она ползет по снегу, подтягиваясь на руках, корчится и жжет Александру Федоровну взглядом, но женщина отворачивается: не признаю. Не моя. Не моя дочь это. И прижимает икону к груди.

– Уходи к черту! Там тебе самое место! Тварь бесовская!

Но Кособочка не уходит. Щупальца настырно ползут по ногам Александры Федоровны. Кособочка ластится об них, трется уродливой, безлицей башкой.

– Ма-а-а, ты забыла меня, ни в могилку, ни назад.

И скулит, и воет надсадно, так что сердце заходится от узнавания.

– Ты и чашечку мою отдала, так ведь?

– Нет!

Александра Федоровна вскакивает. Рамка иконы трещит под ее пальцами, лопается, Богородица выскальзывает из ее рук и падает позолоченным ликом в грязь.

– Если держишь еще при себе чашечку мою, если глядишь на мой портрет, так почему не вернешь меня, мапочка?

Кособочка наклоняет голову. Будто Тата, нашкодившая, виноватая. Просящая. И лепечет едва слышно:

– Мамочка, ты верни меня... Ма-а-а...

Смradный ветер от Кособочки холодит намokшие щеки.

– Ты найди мне девочку, приведи, я в ней жить стану. Ма-а-а...

Александра Федоровна протягивает руки, и щупальца обвиваются вокруг них. И сжимают осторожно. Ласково.

– Мамочка, ты верни меня, и она больше никого не будет забирать. Упадет мертвой и мертвой останется. Только мы с тобой будем жить. Жить по-старому.

Александра Федоровна смаргивает слезы. Кладет руку на грудь, ощупывает воценный шнурок, на котором висит крестик. И срывает его.

– Жить по-старому. По-старому, – говорит Александра Федоровна. Чувствует – на губах солоно.

И идет от вокзала прочь. Девочку искать.

Март 1990

Чаюри¹

Голуби урчат на карнизе, по-павлиньи распушив хвосты. Самолет ведет меловую линию по синему весеннему небу. Под линией золотой купол светится, будто солнце. Даже смотреть больно. Мария переводит взгляд на руки, сложенные на парте. Теплая солнечная река льется на руки, на раскрытую книгу, на пенал с блестящими звездочками значков.

– Михай, начинай со слов «Mon cher Boris».

Мария оборачивается. Графиня сидит на своем обычном месте, не за столом, как другие учителя, а наоборот, в конце класса, у пестрых книжных стеллажей и огромной многолапой монстры.

– Михай, не задерживай нас. Страница 54.

– Mon cher Boris, – сказала мать, выпрастывая руку из-под старого салопы и робким и ласковым движением кладя ее на руку сына, – будь ласков, будь внимателен, – читает Мария, старательно проговаривая странные, нездешние слова, слова из другого века, из другой жизни, которая, интересно, могла ли быть у нее, родись она двести лет назад?

Мария представляет себя, сидящей в изящном будуаре, кудельки накручены на шелковые ленты, лоб белый, напудренный, а щеки розовые от румян. Служанка стоит подле нее в кружевном чепце и фартуке, Мария хихикает – похожа на продавщицу мороженого из нашего сельпо. Служанка держит поднос, на подносе расческа из конского волоса. Мария берет ее за серебряную ручку, пальцы у Марии тонкие и все в сверкающих перстеньках. Из зеркала смотрит совсем не похожая на нее ясноглазая барышня с гривой золотых волос. Волосы шелестят, когда Мария касается их расческой, и служанка восхищается ее красотой.

– Сын, опустив глаза, спокойно шел за нею. Они вошли в залу...

– Достаточно, Михай. Капустина, продолжай. И до конца страницы.

Мария смотрит на свое отражение в глянцевой обложке тетради и мотает головой. Золотая грива и служанка, конечно. Если бы Мария жила двести лет назад, самое лучшее, на что она могла рассчитывать, – какой-то барин бы взял ее отплясывать в широкой красно-черной юбке, бить в бубен, рвать голос в заунывных романсах о роковой цыганской любви. Марию передергивает. О цыганской любви она и сейчас может спеть. Может оттоптать каблуки на свадьбе сестер – Лауры, два года назад, ей было всего четырнадцать, но уж больно хороший нашлся жених. И Лейлы, которую провожали замуж с шиком в прошлые выходные, а сколько ей лет, никто не знал, мама запила тогда и забыла записать дату рождения, но точно не больше пятнадцати. Черед за Марией, пока не вышел срок, пока она не стала обузой для семьи.

Одноклассники суетливо собираются, окликают друг друга, переругиваясь, решая, кто на этой перемене на вершине пищевой цепи, а кто тварь дрожащая: «Эй, в столовку? Да брось, Неклюдова, дай списать, не будь жабой. Фу, народ, Неклюдова сегодня пресмыкающееся, кто столкнется с ней – сифа!» – Мария ждет, уткнувшись в тетрадь, раз за разом перечитывая задание: прочитать две главы из «Войны и мира», подготовить краткую характеристику одного из персонажей – Пьер, Борис Друбецкой, княжна Марья.

Когда в классе становится тихо, Мария слышит поскрипывание паркета и нежный цветочный запах. Графиня метет между рядами, подбирает записочки, фыркает и бросает на совок. Мария хочет помочь, но Графиня отмахивается: почти закончила, лучше доску помой. Пока они вдвоем прибираются, Марии кажется, будто все это – полки, которые надо протереть от пыли, книги, которые нужно расставить по полкам, черный бюстик Пушкина, тетради с лучшими сочинениями, которые Графиня бережно складывает в зеленую папку, – все это

¹ Девочка (цыг.)

ее, Марии, даже умные мысли в сочинениях тех, кто поступил, уехал жить среди старинных особняков и гулять по набережным.

* * *

Мария спешит убраться со школьного двора. Солнце чуть согревает макушку, но ветер холодный, и Мария круглит спину, обхватывает себя руками, ей хочется стать улиткой с теплым перламутровым домиком за плечами.

– Эй, – окликает незнакомый голос. – Чернобровка, я вообще-то к тебе обращаюсь.

«Улиткой, которой всегда есть куда спрятаться», – думает Мария и ускоряет шаг. Знает она этих «эйкающих». И прозвище, старое, обидное. Давно не слышала его. Так Марию прозвали еще в младших классах, когда ее брови начали срастаться в густую черную линию, а волосы на руках и ногах вдруг потемнели и заколосились, так что перед первой же физкультурой в десятом классе от хохота тряслась вся женская раздевалка. «Глядите, какие у Марии косы!» – покатывалась Даша Капустина. И другие девочки, светлые, лысые, что новорожденные крысята, вторили ее насмешливому хихиканью. Но прозвище «Машка-коса» не прижилось, в тот же вечер Мария стащила у отца бритву и сбрила волосы везде – на руках до локтей, в подмышках, на ногах и даже «там». «Буду как фифы в журналах, которые старшие братья прятали под матрасом». А вот «чернобровкой» Даша обозвала ее уже перед всем классом, и прозвище подхватили мальчишки. Тогда Мария кое-как, со слезами выдрала и три несчастных волоска между бровями, а заодно и почти половину их ширины. За что схлопотала люлей от матери и наслушалась от сестер и других таборных девчонок.

– Чернобровка! Да постой же ты, какая быстрая. – Он снова нагоняет. Мария оборачивается. На щеках красные пятна. Волосы – ягнячье руно. На солнце отливают рыжиной. Кажется, из параллельного класса. Знакомое лицо.

– Обиделась? Слушай, я ведь не знаю, как иначе тебя зовут!

– Мария!

Он улыбается до ямочек на пунцовых щеках. «Отвали, дай пройти, что дорогу загородил, дылэно²», – хочет выплюнуть Мария в это красивое лицо, но только открывает и закрывает рот, как выловленная рыба. Во рту сухо. Будто песка наелась.

– Я, кстати, Филипп, Фил, может, помнишь?

Нет, Мария не помнит. Из рта Филадельфия сыплются вопросы: «Извини, может, ты спешишь, может, я тебя задерживаю, в другой раз?», «Дурак я». – Да, дурак, соглашается про себя Мария.

– Мое предложение такое – вместе готовиться к литературе, – наконец выдыхает Фил.

Мария поднимает брови. Неужели он тоже хочет на педагогический?

– Видишь ли, я хочу на актерский, ну это если получится, папа против, да все против, но я хочу. А не получится на актерский, так хотя бы на режиссуру кино. – Фил снова краснеет и переводит взгляд на гряды белых взбитых облаков над горизонтом.

Мария смотрит на него с завистью. Фил из тех мальчиков, которые могут себе позволить. Выбирать. Спорить с отцами. Поступать на актерский. Смотреть в небо, наконец.

– Так попроси...

– Графиню? Заниматься со мной литературой? Э, не, фигушки. Да и она не станет.

– Это еще почему?

Фил наклоняется к ней ближе и переходит на шепот.

– Ты в церковь ходишь?

Мария качает головой. На крещения и на венчания батюшка в табор сам приезжает.

– Хорошо, но, может, знаешь.

² Дурак (цыг.)

– Отца Геннадия?

– Ага. Так вот он и мой, ну, отец. Всамделишный. И это он отказался Графову-младшую хоронить.

Про эту историю Мария слышала. И не понимала, как так? Неужели не нашли тогда ни единой косточки, чтобы сделать все по-божьему, по-человечески?

– Так, а я тебе что, взамен училки?

– Не взамен. Я бы и сам подготовился, но...

– Но лениво?

– Но вместе веселее, скажешь, нет?

Марии было бы веселее, если бы она могла спокойно пересечь школьный двор. Потом спокойно разложить книжки на чистом, с ее собственным порядком, столе. И спокойно, до ночи, заниматься, заниматься, заниматься.

– Да к тому же, Мария, всем известно, у Графини есть любимчики.

Мария отнекивается, но вообще она согласна – она не всем так благоволит, как ей. Не всем тянет оценки в четверти, прощает опоздания и даже вовсе неявики.

– Она вон и книжки тебе подсовывает из собственной библиотеки. Поделишься или ты это, единоличница?

Марии хочется оправдаться, мол, я же особый случай. Это вас в школу фиг заставишь ходить. А я каждый школьный день себе выгрызаю. Дядья смотрят косо, тетки морщат нос, думают, строю из себя невесть кого. Что цыганке нужно? Буквы знать, уметь худо-бедно читать, складывать и вычитать, чтобы считать лавэ. Вот только вчера мать сидела в слезах – Мария, злая, неблагодарная дочка, другие уже бабушки в моем возрасте, а ты, ты хочешь, наверное, чтобы книжки всю красоту твою высосали, будешь скоро старая, страшная, без мужа, без детей, обуза на нашей шее.

– Поделюсь, – тихо говорит Мария. Со всеми приходится быть, как это называется? Ласковым теленком. Так, кажется, ее Графиня называла. Мария смотрит, как солнце золотит пушок на щеке Фила. Как растягиваются в улыбке его губы, красивые, пухлые, с точками заживающих ранок. Мария показывает головой на крыльцо школьного хозблока, там до зимы хранятся лыжи и песок для посыпки дорожек: – Туда давай, сегодня и начнем. Фил улыбается еще шире.

Пока Мария раскладывает конспекты – синее на белом, сколько мозолей натерла, пока ее закорючки не стали похожи на витиеватую гжель. Фил усаживается рядом и пододвигается ближе. И ближе. Так что Мария бедром чувствует его бедро. «Первый мужчина, касающийся твоей юбки, – это муж», – звучит колокол маминого голоса. Но Мария не двигается и только чувствует, как щеки становятся горячими. Может, солнце уже припекает? А может, и нет.

* * *

– Где буква «В» заглавная? Вот «В». А какое слово с «В» начинается? «Волк»! – Мария клацает зубами. – Ры-р-р!

Брат хохочет, хватается за живот и откидывается на топчан, Мария не выходит из роли, рычит и скалится, пытается схватить брата за ножку, требует немедленно ответить, какие еще слова начинаются с «В», иначе волк расвирепееет и сожрет маленького поросенка.

Брат спрыгивает с топчана и улепетывает прочь. Играть в догонялки ему нравится куда больше изучения азбуки.

Мария вздыхает и откладывает книгу. Азбука новенькая, с яркими цветными картинками, из свежего завоза в школьную библиотеку. Марии ничего не стоило ее стащить. Все равно таких азбук там целая коробка, а брата в школу наверняка не отдадут. Слишком уж отец зол, что Марии школой «мозги попортили».

Брат гоняет по двору большое, почти с него ростом колесо. Белое, от свадебной «каretty», на которой очередную таборную невесту везли к дому жениха. Повозку сколотили наскоро, выкрасили в белый и золотой, налепили ленты по бокам, чтобы развевались по ветру. Только вот ветра не было, поэтому они волочились по пыли. На двор высыпают другие таборные мальчишки, постарше, и выдергивают из рук брата колесо.

– Ми-а! – кричит брат и бежит жаться к ее ногам. Она щебечет ему, целует грязные, мокрые от слез щечки, макушка у него пахнет сеном и солнцем. Мария достает припрятанную жвачку и сует в кармашек его шорт – пусть попозже найдет.

– Иди, Уголек, я присмотрю, чтобы они тебя ни-ни!

Уголек целует ее в коленку, отпрыгивает и останавливается.

– А когда замужня станешь?

– А я не стану.

Уголек смотрит пристально: разве так бывает? Разве не всех девушек увозит свадебная телега, и к ним потом нельзя ходить, или можно, но только если муж разрешение даст? И разве не у всех муж – вечно пьяный боров, которого и самой бы сдать, да страшно, иначе останешься голодная с оравой таких же голодных ртов.

* * *

Большая перемена почти кончилась, из столовой неторопливо, будто козы, бредут ее одноклассники. Кто-то дожевывает слойку, посыпая путь за собой сдобными крошками, кто-то на ходу пытается дочитать заданную главу «Войны и мира».

На коленях у Марии тоже раскрыт первый том, она гладит книгу по корешку. Вчера она читала под одеялом, едва различая в свете ночника черные буквы на желтой бумаге, читала весь день, и ей все время хотелось еще, урвать хоть строчку между уборкой, стиркой, дойкой коз и присмотром за младшим: «Гляди, чтоб не расшибся», – кричит из комнаты мать, не на русском, ясное дело. Хотя, может, и на русском, матерном:

– Мария, я тебе сейчас эту книжку засуну...

Хотя поначалу Марии и самой хотелось бросить книгу в костер, в бочку, в которой дядя жгли во дворе мусор. Но сначала Мария решила спросить у Графини, зачем Толстой пишет по-французски, зачем вместо складных, ласкающих ухо русских слов, пишет какую-то тарбарщину, расшифровка которой мелко-мелко напечатана в виде сноски?

– Он ведь не для нас писал, Лев Николаевич, – ответила Графиня. – Не для простых людей. А для высшего общества, для элиты, на понятном ей языке. Это сейчас в каждой деревне – школа, а тогда?

Мария знала. Тогда – до революции – ни школ не было, ни уважения к простому трутящемуся человеку. А сейчас, сейчас каждый имеет право пойти учиться. Правда, из своей родни простых трудящихся Мария едва ли знает.

Но даже у мамы – пять классов. Успела окончить до рождения первенца. Первый ее сынок не выжил, но в школу мама, конечно, уже не вернулась. Не хотела она и для Марии слишком долгой учебы.

На той неделе сыграли свадьбу Рузанны. Она на два года младше Марии, но и красивее, как говорят. А уж если послушать ее отца, когда пили за выкуп: «Бэмс-бэмс-бэмс», – золотые монеты падают в бокал с шампанским. Одна монета за каждое из многочисленных Рузанных достоинств. Красивая, послушная, чистая. Ни один рома³, конечно, ни один гаджо⁴ не распускал с ней руки. Много деток тебе родит – обещали дядья и вымогали у жениха еще и еще – не

³ Цыган (цыг).

⁴ Русский (цыг).

жалей золотых за такую невесту. Все это Мария видела издали, но каждое слово знала наперед – так продавали каждую, так продадут их тоже, девчонок, топчущихся на каблуках рядом с ней. Мария – каланча, к тому же шибко умная. Ей бы Христу молиться, чтобы побыстрее мужа нашел. Но Мария не молится. Она вызывается пойти к невесте, помочь собраться для первой ночи. А вместо этого забивается в свой угол, накрывается простыней и читает про похожую на лягушонка Наташу Ростову.

* * *

Мария трет уставшие глаза. В них будто песка кинули, красные, воспаленные, но жадные до текста. Мария кладет голову на руки, лоб прикасается к шершавым страницам. Мария глубоко вдыхает пыльный запах книги и думает: «Князь Андрей вот-вот уедет на войну. Но успеет ли он до этого встретиться с Наташей?» Трещит белый звонок под потолком, щелкает замок изнутри кабинета русского – Графиня открывает дверь.

– Михай, в юбке на полу?

Мария вскакивает и отряхивается, едва не роняет книгу, миньжа⁵, что ж такое. Графиня качает головой, просит не ругаться, хоть на цыганском, хоть на русском. Марии становится жарко, глаза щиплет, но Графиня уже сменяет гнев на милость – ладно, проходи, садись, не сержусь.

Мария грохается за парту напротив учительского стола и снова слышит недовольное цоканье – какая же ты шумная, Мария, учить тебя и учить.

Графиня монотонно называет фамилии – Арсеньева, Акопян, Беленький, Белова отсутствует, Гармаш, Гаранова...

– Гаранова тоже отсутствует! – чуть не выпрыгивает из-за парты Владик Наумов. – А еще Темченко и Цветкова.

«Жених и невеста, тили-тили тесто», – хихикают с задних парт.

– Темченко с ангиной. Дома валяется. А вот где Цветкова, понятия не имею, – басит закадычный Темченки, Вова Тарасенко. По голосу Вовы понятно, что следующим сляжет он, Вова хлюпает носом, и Графиня, закатив глаза, сует ему свой вышитый платочек.

– Кто знает, где Гаранова и Цветкова? Сами расскажете или мне опять поднимать вопрос на родительском собрании? – Графиня ходит между рядами, губы поджаты, руки сцеплены на животе. Мария всматривается – они легонько дрожат.

– Выпускной класс, через два месяца экзамены. Передайте Гарановой и Цветковой, особенно Цветковой, что на экзаменах ее сопли никого не будут волновать. Это, надеюсь, всем ясно?

Головы вокруг Графини кивают, мол, ясно-ясно.

– Только все равно никто не знает, где они обе, – шепчет Капустина, сидящая слева от Марии.

Мария оборачивается. Лицо у Капустиной белое, сосредоточенное.

– Никто не знает. Тетя Аля сегодня в милицию идет. А тетя Света вчера уже заявление написала.

Графиня шикает на них – разболтались. Делает вид, что не слышит, а, может, и правда не услышала.

Хлопают томики Толстого, распадаясь на заложенные страницы – 394. Наташа Ростова танцует с Болконским, залитая хрустальным сиянием бальной залы. Мария перечитывает строчки раз за разом, но не может представить «ее удивление, радость, и робость». Перед гла-

⁵ Пизда (цыг).

зами у нее меловое лицо соседки по парте и подружки на свадьбе Рузанны, клацающие каблукми под веселые таборные песни.

* * *

– Прикинь, вдруг все девчонки исчезнут?

Фил качает ногой, и с подошвы в воду летят мелкие камешки. Мария смотрит на него пристально – дурак, что ли?

– Не, серьезно, прикинь, как у Брэдбери? Не читала? Там все люди раз – и пропали, одним днем. А у нас не Америка, поэтому пропадут только девочки. А тетки и старухи останутся.

Фил хохочет и делано вздрагивает от ужаса.

Солнце плещется в рябой поверхности реки. На щеках у Фила играют блики, и, хотя шутка дурацкая, Мария улыбается.

– И зачем тебе девчонки? Списывать изложения по литре что ли?

Теперь уже Фил смотрит на нее странными темными глазами – это разве объяснять надо? Мария отворачивается и судорожно роется в сумке. Пенал, нет, книжка, нет, не та, боже, да хоть что-нибудь, во что можно уткнуться, перевести внимание.

– А если серьезно, жуть какая-то творится. Ты бы не ходила одна.

– Не будь мне мамкой, я не просила.

– И не собираюсь. Только вот к отцу пишут записочки, чтобы он особо на службе упомянул – сколько? Елену, Екатерину. Это наши Гаранова и Цветкова. А еще из других классов, двух Насть и Варвару. Пятерых, получается.

Мария расправляет ладонью помятые в сумке тетрадные листы. Тетрадь зеленая, как березовый лист. Новая, специально для сочинений по «Войне и миру». Ведь Мария за этим в школу ходит? Чтобы читать, чтобы думать о барышнях и кринолинах, чтобы поступить в пединститут и самой ходить, как барышня, среди мостов, дворцов...

– А если это маньяк, сама подумай.

– Ага, поселковый. Охотится только на деревенских дур. По крайней мере, если он сцапал сразу и Гаранову и Цветкову.

Марии делается немного стыдно. Они хоть и те еще – из интересов только как бы перед мальчишками покрасоваться, но вдруг.

– Ты хоть и не дура, Мария, но наверняка хочешь в универ, а не в лапы к каннибалу попасть. Или Кособочке.

Мария фыркает. Кособочка – это наверняка один из ее пьяных дядек. Тоже черный и злой как черт. Все сходится. А по поводу универа Фил будто мысли ее читает.

– Тебе-то что, если сцапает?

– А то, что если поступишь, в город уедешь, подальше от своих.

Мария поднимает брови – серьезно?

– И мы сможем видеться хоть каждый день.

И тут в голове у Марии шелкает. К экзаменам готовиться. Ну конечно. Фил хлопает ресницами, длинными, золотыми, а в глазах у него отражается речная глубина. Мария хочет побросать книжки в воду, взбаламутить ее, чтобы никаких переглядок больше, никакой речной глубины. Но сидит оцепенело, руки не слушаются, не отталкивают. А Фил наклоняется и горячими губами целует ее ладонь.

* * *

Белая козочка тычется Марии в руку. Находит палец и начинает сосать. Мария выдергивает его, козочка мекает недовольно и цокает копытцами, так что с дороги поднимается пыль.

Низ юбки становится серым, и Мария закатывает глаза. Фу, опять вся в пыли, слюнях – наступает каблуком единственных школьных туфель в свежую кучу. И в навозе, конечно.

Мама вытаскивает из корыта постиранное белье и развешивает на длинной веревке – от дома до хлева. Детские трусы издали похожи на флажки, красные, белые, в синюю крапинку. Мамин голос звучит у Марии в голове – жениха тебе нашли, хорошего. Мама блестит золотым клыком и грозит пальчиком – эх, Мария, девка ты буйная, что кобыла необъезженная, но жених тебе достался дай боже, сестер зависть берет. Будь благодарна, он достойный рома и друг твоего дяди Парно.

Тут нечего возразить, да и Мария еще в здравом уме, чтобы спорить с матерью.

Мария вытирает руку о юбку и идет ко второму корыту, где лежит замоченная в ледяной колодезной воде простыня. Мария ставит в корыто доску и принимается тереть привычными, быстрыми движениями, вжик-вжик, не слишком сильно, чтобы не задеть костяшками рифленую жесть. Так же точно она будет отстирывать большую простыню с двуспальной мужниной кровати. От холода будет сводить пальцы, но она не перестанет, пока не сойдет с нее бордовое кровавое пятно. Пятно, на которое сначала полюбуется мать жениха. Тетки и сестры. А потом и весь табор – чокаясь с ее отцом, чокая в гладковыбритые в честь праздника щеки. Достойную дочь вырастил, не посрамила, не легла под гаджо, хорошая девчонка, дай бог, теперь родит детишек ораву и... А что дальше? Мария смаргивает, чтобы пелена не застилала глаза. Дальше – новые свадьбы, новые дети, свадьбы, дети, окровавленные простыни, звон монет в бокале, или сначала звон, а потом простыни?

Вода льется прямо в траву, бурным мыльным водопадом. Мать подлетает, отвешивает оплеуху и тут же всплескивает руками и осматривает щеку – не поставила ли синяк? Свадьба ведь на носу, разве можно, чтобы невеста с синяками щеголяла. Мария позволяет утереть себе слезы, позволяет уткнуться себя в пышную материнскую грудь и по-детски прижимается к ней, целует влажную, теплую, пергаментную от загара материнскую шею. Мария шепчет, зажмурившись, наугад – мама, дай только закончу десятый класс, дай срок, мама, я буду хорошей дочкой, я стану хорошей женой, только дай доучиться, раз уж взялась.

И мама кивает. Ладно, поговорю. Но ничего не обещаю. И Мария целует ее снова, чувствуя себя маленькой-маленькой, младше, чем любимый ее младший брат. Маленькой Дюймовочкой, уткнувшейся в теплый ласточкин бок.

* * *

Для книг у Графини особая тряпочка. С мягкими ворсинками, которые почти не намокают, но замечательно собирают пыль. Мария осторожно гладит ею корешки. Книги, закрытые, спящие, кажутся ей неизвестными цветами с разноцветными листьями – темно-синими, бордовыми, кремовыми – цветами с пока неизведанных или давно забытых планет. Сколько лет ей бы потребовалось, чтобы прочитать их все? Сначала Мария думала, что Графиня читала все выставленное здесь собрание. Но однажды Тарасенко поколотил пацана из параллели, и Графиню вызвали на экстренный педсовет, Мария осталась дежурить в одиночку. Поддалась искушению и принялась распахивать книги одну за другой. И каково же было ее удивление, когда томики захрустели корешками, будто бабульки, которые разминают старые косточки после долгого сна. Осторожно расставив потревоженные книги на прежние места, Мария решила пересчитать их, но на двухсотой сбилась, и пришлось начинать заново. Но дальше она никак не успевала добраться, обязательно кто-нибудь отвлекал, или чайка с воплем пролетала над окнами, или ревел мопед, или поезд давал гудок.

– Шестьдесят четыре, – прошелестела Мария, и Графиня тут же отреагировала:

– Что ты там бубнишь, Михай? Поди-ка лучше сюда, есть тебе задание.

Графиня сидела за своим столом, похожая на сороку, в черном пиджаке с белыми лацканами. Мария подумала, что она выглядит какой-то слишком худой, и пиджак стал висеть на острых плечах, и глаза красноватые и беспокойно перебегают с Марии на стеллажи, на портрет на столе, отвернутый от класса в сторону, на белую фарфоровую чашечку.

– Михай, посиди со мной, погоди, сначала налей чаю себе. Мне не нужно, я уже пила. В эту чашечку прямо и наливай, из нее чай вкуснее.

Чашечка звякает о глянцевитую поверхность парты, и Мария осторожно отодвигает стул. Графиня не сводит с нее глаз, следит за тем, как Мария придерживает юбку, как садится и притрагивается губами к чашечке.

Графиня вскакивает. Выдерживает чашечку из ее рук, кипятком плещет Марии на руки, и она шипит от боли.

– Нет, все не так, Мария, я передумала, не трожь эту чашечку. Никогда больше не трогай ее, слышишь?

Мария только поднимает брови – какая муха ее? Ну ладно, кожа на руке зудит, хочется скорее сунуть ее под холодную воду, Мария бросает в сумку тетради ворохом и выскакивает из класса. И уже в дверях замечает, как Графиня стоит между партами, обхватив руками черноседую голову, и раскачивается, раскачивается взад-вперед, и гудит.

* * *

Когда при встрече Фил хватает ее руку для поцелуя, Мария вскрикивает. На пальце – безымянный на правой руке – и костяшках над ним вспухли болючие пузыри. Фил осматривает ее руку, будто она сама из тончайшего фарфора.

– До свадьбы заживет.

Мария смотрит на него с ужасом – и вправду ведь идиот, но руку не вырывает. Вокруг них шумит зацветающая черемуха, Марии кажется, что весь мир сейчас пахнет ею, даже темные глаза, которые смотрят на нее снизу вверх. Фил лежит головой на ее коленях, и Мария видит каждую рыженькую веснушку на его щеках.

Мария закусывает губу, пытается сделать вдох, снова и снова. Фил сжимает ее пальцы: «Мария что с тобой?» – и поток слов и слез обрушивается на него. Обо всем вперемешку – о красных пятерках в дневнике и о красных простынях, о тайком подготовленных Графиней документах для поступления в город, о стучащих колесах электрички, которая увезет ее в новую жизнь, и монетках, падающих в хрустальный бокал шампанского.

И когда Мария наконец затихает, накрывшись его кожанкой с головой, она слышит голос Фила, будто из-под толщи воды: «Мария, ты же можешь отказаться. И уехать в город. И быть сама по себе. Или быть со мной».

Марии хочется засмеяться в его красивое, но такое глупое лицо.

– Ту мана полеса⁶, – говорит Мария, садясь. – Мы как бы рядом, но очень далеко. Вы живете по своим законам, а у нас – романипэ⁷, у нас надо слушать старших, в самом деле слушать, а не делать вид.

– Ну а если не послушать?

– Это даже думать нельзя. Лубны⁸ станешь, – Фил поднимает брови. – Из табора выгонят, навсегда, на коленях будешь просить – не посмотрит никто, будто ты пустое место, ничто, понимаешь?

– Даже мама?

⁶ Ты меня не понимаешь (*цыг*).

⁷ Цыганский закон.

⁸ Проститутка (*цыг*).

– А маму спросят – есть у тебя дочка Мария? Нет, такой нету дочки.

Фил хмурится, поводит плечом – ну не знаю, выдумываешь.

– Но вы ж, цыгане, своих же не бросаете? Вроде.

Марии даже завидно делается. Счастливым, не может поверить, что значит, когда тебя перестают свои же узнавать.

Вместо ответа Мария ложится головой ему на плечо. Грубая шерсть свитера колет щеку. И отросшая щетинка на его подбородке. Мария дотрагивается до нее губами, и выше, целует теплый приоткрытый рот, целует глаза, доверчиво прикрывшиеся. Черемуха пахнет сладко-сладко, солнце припекает макушку, согревает пальцы, застывшие в спутанных волосах. Марии кажется, что стоит ей разжать руки, и он упорхнет прочь, как не нуждающийся больше в опеке дрозд. И пусть Мария нашла его на траве под гнездом, выкормила его из своих рук, он оправился, он готов лететь к другим рыжим, пестрокрылым, свободным.

* * *

– Бог есть любовь, – говорит Фил, глядя, как дождь разбивается об золоченый купол, как потоки воды катятся по нему, вода ловит отражение и тоже кажется золотой.

Мария стоит за его спиной, сжавшись под его кожанкой. Волосы падают на глаза, так что обернувшийся Фил не может прочесть их выражение.

– Это не я придумал, это Библия.

– Это ты моей маме скажи.

Фил пожимает плечами.

– Скажу. Скажу, если это ее убедит. Скажу, пойду просить твоей руки, если хочешь, прям как в старые, недобрые...

– Не смей, слышишь – Мария подлетает и дергает его за мокрый рукав. – Даже подходить к дому не смей, мои дядья тебя того, если узнают – Мария чиркает по шее, но Фил смеется.

Фил хватает ее поперек талии и чиркает по темечку костяшками пальцев, легонько, но Мария визжит, вырывается. И отдышавшись, вдруг смотрит на него, серьезно и строго.

– Мама говорит, если я буду делать, как она велит, как отец велит, как старшие, как... Кто угодно, в общем, кроме меня самой. Тогда и Бог меня любить будет.

– А если я велю?

– Ты что, ты – гаджо, – выплевывает Мария и осекается. Прозвучало грубо. Она встряхивает закуржавившимися волосами и выходит из-под козырька. Мария вздыхает и поднимает лицо к дождю. Струи быстро смывают ее слезы, и лицо ее проясняется.

Мария сверкает глазами и бросается на проезжую часть:

– Догоняй!

И вот Фил уже бежит за ней, ее белое платье рвет ветер, будто флаг на корабле, оно хлопает, облепляет ее тонкие ноги, а Мария хохочет и несется вперед. Когда они замирают перед рассекающей лужи машиной, облитые брызгами из-под колес, Мария смотрит на грязный подол и цокает. А Фил смотрит на Марию. На плечи, на грудь в круглом вырезе, на живот с темной ямочкой пупка. Белое платье стало почти прозрачным.

– Куда мы? – говорит Фил. – Можем на квартиру пойти. – И наконец решается: – Можем остаться там до утра.

* * *

Пока лифт дребезжит с последнего этажа, они прижимаются друг к другу. В темноте парадной это так просто – сплестись руками, бедрами между бедер, подбородком уткнуться в

жаркую шею. Мария откидывает голову, разрешая ему наклониться, выдохнуть ей в губы. Фил целует ее, и сердце ласточкой падает со скалы.

Марии кажется, что он держит ее так крепко, так уверенно, будто десятки девчонок побывали в его руках. А потом лифт звякает, распахивая тяжелые двери, и в желтом лифтовом свете Мария видит пунцовые пятна на его щеках. И сама прижимает руки к раскрасневшемуся лицу.

* * *

Фил запускает пальцы в ее густые, всегда немного пахнувшие костром волосы. Осторожно, как котенка, чешет за ухом, а потом чуть сжимает мочку с золотым кольцом. Мария зажмуривается и зарывается носом в успевшую высохнуть шершавую джинсу. Она чувствует щекой металлическую молнию и тепло, исходящее из-под нее. Фил наклоняется и целует ее затылок, и золотое колечко в ухе, и шею под ним, и волосы, закрывающие ее лицо.

«Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой», – поет хриплый голос из приемника.

* * *

Черная косынка сползла на брови. Волосы выбились из-под нее и торчат черными шипящими змеями. Мама беззвучно открывает рот, вперив в Марию злые глаза, покрывается пятнами, и вырез над ее грудью становится красным, в тон гороху на платье.

Мария не ждет, что мама поймет. Не станет заводить шарманку про любовь. Про выбор. Требовать свободы и перемен. Мария хочет просто проскользнуть мимо, схватить хотя бы пару вещей, поцеловать брата, быстро, но чтобы запомнил, чтобы он запомнил ее такой. Она не может уйти не попрощавшись.

Мария входит в дом и идет напрямик в свой угол, хватая школьный портфель, высыпает из него все на пол, учебники валятся с грохотом, рассыпаются карандаши, ручка со звоном катится под комод. Мария сдергивает с вешалок рубашку с жабо, которую мечтала надеть на выпускной, торопится, сует рубашку, юбки, пару трусов, пихает в портфель, он, конечно, не закрывается. Ну и ладно, думает Мария, наклоняется, чтобы вытащить из коробки туфли, и – боль в затылке будто пришибает ее к полу. Мария успеваешь подумать про то, сколько на нем крошек и кошачьей шерсти, и мир гаснет.

Она просыпается от хлопка по щеке. Это мама. Стоит над ней и отвешивает оплеухи. А позади мамы – отец. И черное стадо из дядек, и братьев, и даже других таборных мужчин. Некоторые кривятся, глядя на Марию. Другие цокают, грозят, выплевывают: «Беда⁹, беда». Мать налетает на них, кричит, но отступает, когда вперед выходит отец. Отец потирает свой массивный, бурый от водки нос, смотрит на Марию так, будто она не его дочь, а издохшая сторожевая псина, которую нужно поскорее убрать и заменить новой, здоровой, громкой и зубастой.

Мария встречается с ним глазами. И выдерживает его взгляд. Пока он сам не отводит глаза, не отходит к дядькам, не приказывает коротко и не уводит все сборище за собой.

* * *

Запах фиалкового мыла обнимает Марию. Она вдыхает его глубоко – а-ах, набирает в грудь, задерживает дыхание. Теплые руки ложатся ей на плечи. Маленькие, сухие ладони, пах-

⁹ Беда (цыг).

нущие мылом, гладят ее по макушке, расправляют спутанные от ветра волосы. Мария крутит в руках небольшую розовую музыкальную шкатулку. Откроешь – крошечная балерина крутится на ножке, и вокруг нее тренькает еле слышно «Лебединое озеро». Закроешь – тишина. Откроешь – и снова дрожит белая пачка из органзы, блестит камушек на пуанте: «Тан, та-та-та-тан, та-тан...» – А вдруг Графиня бы могла ее удочерить? Пусть хоть на годик, до ее совершеннолетия. Ведь ее настоящая дочка... Мария не хотела думать, что с ней, где она. Важно, что она, Мария, здесь, она бы стала по хозяйству помогать, с деньгами сейчас туго, так она бы тоже работать пошла, хоть после школы, хоть как.

– Мы все решим, моя девочка. У меня знакомцы есть, придумаем. Если согласишься пока...

Мария дергается, хочет выпалить: «Конечно соглашусь, я вам не помешаю, совсем!» Музыкальная шкатулка звенит-переливается, балерина кружится быстрее, быстрее.

– Пока пожить в общежитии?

Мария захлопывает крышку. И встречается глазами с Графиней.

– Но я думала, может, вы, может, у вас? – начинает Мария.

Графиня качает головой. Хлопает Марию по плечу: подумай пока. Отходит к доске и принимается протирать ее сухой тряпкой. Тряпка шуршит по грифелью, и Мария изо всех сил сдерживает всхлипы.

– Может, я все же смогу пожить у вас? Никто не узнает. А потом я уйду.

– А ты готова уйти вот? Отказаться от своих, от матери?

Мария кивает: да. Нет у меня больше своих. И я им такая не нужна.

– Ладно. – Графиня оборачивается. Между ее бровей морщинка, как будто она сама в тяжелых раздумьях.

– Приходи после заката к фундаменту вокзала. Мы все решим.

Музыкальная шкатулка падает на пол, что-то звякает у нее внутри. Мария бросается обнимать острые плечи, целовать тонкую птичью шею и шепчет благодарно:

– Спасибо, господи боже мой, спасибо, спасибо!

* * *

Ворот свитера колет шею. Но Мария натягивает его повыше, потому что красная шея лучше обмороженной. А холодно так, будто именно сегодня вдруг наступила зима. За плечами у Марии полупустой рюкзак – сколько успела закинуть вещей, пока в сених между женской и мужской половиной не начали шуршать половиком, Мария решила не испытывать судьбу, не ждать, куда повернут устало топчущиеся у вешалки ноги, скрипнула засовом, выдохнула и прыгнула прямо в смородиновые кусты. Отбитые пятки почти не болят, особенно если идти тихо, крадучись, как идет она, – чтобы насыпь под ногами не шибко хрустела. Немного ноет рука, рукав задрался, и острый сучок пропорол кожу от запястья до локтя. «Заживет», – думает Мария. Заживет рука, заживет сердце, если Фил ее обманет, если не станет ждать, когда она поступит в университет или хотя бы в училище. Главное, что Мария уже начнет новую жизнь. Мария сжимает кулаки, так что кончики ногтей впиваются в ладонь. Господи, скорее бы. В новую жизнь с головой.

«Хрупь-хрупь».

Кто-то шуршит по насыпи впереди нее.

Мария оглядывается. Фундамент вокзала скрыт зарослями ивняка.

«Фьють», – вылетает из кустов разбуженная птичка.

Мария сбавляет шаг и спускается по насыпи вниз, в лесополосу. Фундамент должен быть где-то здесь.

«Хрупь-хрупь».

Камни сыплются под чьими-то шагами.

«Хрупь-хрупь».

Совсем близко. Мария оборачивается.

– Александра Федоровна? Это вы? – спрашивает Мария в ночь.

Черный силуэт. Мария не может разглядеть лицо.

– Что было моим – твоим, – слышит Мария за спиной голос Графини. Мария хочет спросить, о чем это она и кто же тогда впереди, черный, кто это?

Мария слышит хруст, видит черные щупальца вокруг ног. И только после приходит боль.

– Что было ее – тебе достанется.

Мария слышит крик. Отчаянный крик, придушенный крик. И ее мир гаснет.

Апрель 1990

Жених

Я увидел ее на школьном дворе. Волосы – черный всполох. Руку тонкую вскинула:
– Дзя ко бэнг, ту мангэ надохаян¹⁰!

И этот псиладо¹¹отлетел, будто она не рукой взмахнула, а метнула молнию.

Встряхнула волосами и пошла, пошла. Как будто не взбивает пыль на обочине, а по сцене гарцует. А вокруг вспышки, бряцание бубнов.

Я сжал руль. Мне будто снова пять, и мама, сама когда-то танцовщица «Ромэн»¹², стискивает мою руку – нет, тебе нельзя к ним, к сверкающим и чернобровым, сиди смирно и смотри.

Я нажимаю на газ и качусь мимо нее на своем новеньком черном «мерине». «Смотри, смотри».

А она проходит мимо, подбородком чиркая небо.

Ничего, потом заметит. Оценит. Накатается.

Есть красивее бабы. Но эта...

Я пришел к ее отцу, бросил перед ним узду из черной кожи: хочу ту твою дочку, что нуждается в такой сбруе.

– Мария-та? – только и спросил отец. Цокнул языком. Тогда я добавил к сбруе ключи от «мерина». И мы ударили по рукам. Тачку купить успею. А вот бабу такую уведут.

Через выходные я прикатил в табор снова с подарком для матери и сестер. Заехал прямо на пыльный двор, чуть не зашиб прыгучую молодую козу. На двор тут же вылетела стайка детей, женщин, захопотали вокруг, дети радостно поглаживали горячие бока машины. Я-то надеялся тайком взглянуть на мою лачи¹³. Но вместо нее навстречу вышел отец. Лицо у него было темное, под глазами фонари. Он отвел меня в сторону и шепнул в самое ухо: «Прости, дорогой. Мария слегла, больна она, очень больна, мать не спит, сидит с ней, но ты не переживай, выкарабкается она, дай срок!» – И пока он лепетал, хлопая себя по коленкам, стуча по груди, подпрыгивая и юля, я все больше понимал – брешет, ой и брешет, что-то здесь неладно, то ли девку прибереечь задумал, то ли торгуется, а то и вовсе... Я рассмеялся, оскалился, двинулся на него. Только что зубами не клацнул – ну смотри, помни наш уговор. Встряхнул у него перед мордой ключами и сунул их себе в нагрудный карман. В другой раз, стало быть, отдам. У него аж слезы навернулись, но ни слова не выцедил, только кивнул: конечно, дорогой, уговор.

* * *

Серебристая «десятка» выныривает из двора и едет почти впритык ко мне. «Че сзади пристраиваешься, мудила!» – хочу крикнуть я и уже опускаю стекло наполовину, как понимаю, рожи у них не правильные. И только на светофоре замечаю фуражку на приборной панели. Сука...

Пиная пакет с «хмурым» под сидением. «Десятка» не отстаёт, как назло, сворачивать особо некуда, не в пятиэтажки же, там только по кольцу между домами кататься, а выезд вечно загорожен переполненным вонючим пухтом.

«Блядь, блядь!» – раздраю щеку ногтями, чувствую, под щетиной уже проступает сукровица – скovyрнул старую болячку. Новый светофор, вытаскиваю из-под сиденья пакет с рынка, черный с золотой полоской. Обычный такой пакет, сойдет. Сюю товар туда, завязываю, крепко

¹⁰ Пошел к черту, отстань от меня! (цыг).

¹¹ Долбоеб (цыг).

¹² Цыганский музыкально-драматический театр в Москве.

¹³ Милая (цыг).

надо, ага, еще на один узел, вот так хорошо. Мусора сидят на хвосте. Трут чего-то, вижу, как вертят головами, что-то высматривают, вынюхивают. А потом резко дают вправо, на обочину, и разворачиваются. Развести хотят! – проносится в голове. Но тут как раз открывается переезд, я вжимаю гашетку и рву к реке, там сейчас мертво, постою, перекурю, авось пересрался зря.

* * *

Черный пакет полетел в канаву: «Плюм», – ударился о грязную воду. Так даже лучше, никто не станет вылавливать его из ряски, отмывать, потрошить – не найдется ли чем пожить? А бегунки у меня не из брезгливых, этот особенно, как его, Плоский. Морда у него рябая и плоская, будто об асфальт приложили. И глаза рыбы, пустые. Такому хорошо при хозяине, главное, не забывать ему, как собаке, выдавать короткие и четкие команды: взять, отнести, место. Изредка – на, вот тебе косточку пососать. В смысле, сисю самого дешевого пивка.

Плоский явится затемно, а пока...

– Эй! Парень! Сдурел?

Я оборачиваюсь. Кричат с лодки, дядька-рыбак громыкает веслами, свистит кому-то на берегу.

– Тю, люди! Дурака этого спустить надо.

На железнодорожном мосту стоит парень. Руки за спину – держится за опору. Ноги тонкие, белые. Шорты трепыхаются, как белый флаг. Думаю, не крикнуть ли: «Слышь, сдавайся!» – но меня опережают. Мужичок с бородой, как у попа, но в тельняшке и трениках, кричит, растягивая слова:

– Молодо-о-ой человек, это вы зря-я! Слезайте, пожа-алста!

Со стороны Блюхера к мосту подтягивается народ. Бабульки с трясущимися подбородками и тележками, тетки с кулаками с два моих и толстыми ногами, это, видать, закрывшие смену продавщицы сельпо.

– Удумал! Мать пожалей!

– Санитаров вызвали, ему в дурку надо, а не разговоры! Слышишь, санитары едут за тобой! Подумай, заберут же, будешь всю жизнь с желтой бумажкой мыкаться!

– Дура, ты че-е? Че говоришь ему? Он же и так покойничком стать хочет, – вступается за парня мужичок и, растолкав баб, снова оказывается впереди.

– Ну что вы за фокус затеяли? А-а? Кто будет вас снимать оттуда, а-а?

Сзади слышно пожарную сирену, и наконец к мосту подъезжает красная машина со свернутыми змеями шлангов и гурьбой бравых ребят в касках. В костюмах им явно до одури жарко, и каски быстро оказываются сброшены, кран выдвинут, а упирающийся, орущий и брыкающийся белыми, селедочного цвета ногами парень сброшен прямо на траву. Парень растянулся, зарылся в землю носом и принялся выть. Я обогнул толпу и через кусты прошел прямо к лежбищу. Уж очень захотелось взглянуть поближе на идиота. А может, и поболтать пригласить. Такие дылэно бывают полезны.

Парень греб руками по траве и размазывал выдранные комья грязи по лицу.

– Ма-а! Ма-а-ар!

Полосатое лицо оказалось совсем детским. Лет шестнадцать. Школьник еще.

– Бредит! Как пить дать бредит! – кудахтали оставшиеся за моей спиной бабы.

Один из пожарных втиснулся между ними и начал допрос:

– Где живет? Чьих будет? Выкладывайте. – Бабы мычали что-то про местного попа – помолиться, что ли, думают за него?

Мне хочется прикрикнуть на них: да заткните варежки хоть на секунду, этот несчастный что-то сказать хочет.

И наконец в вытье я начал различать членораздельное:

– Ма-а-ри-и...

– Мария? – Я кинулся к нему. – Что ты там воешь, эй, ты, что ты только что сказал?

Мария?

Парень закивал головой:

– Мария. Мария Михай. – И снова уткнулся в землю.

Я принялся трясти его за плечи:

– А ну-ка, рот открыл и выложил все, что знаешь, что с ней? Померла?

Парень вздрогнул плечами:

– Не знаю.

Круглые, крупные слезы катились по его грязным щекам. Из рта посыпались, нагромождаясь друг на друга, бессвязные обрывки:

– У нее свадьба, а мы на дворе, она не... нельзя с гаджо, я говорю, можно, а потом кассету сташил, под Цоя мы, она говорит, сбегать буду, а куда? Куда? А у нее план. План какой-то был. Куда она сбежала? Куда? Куда?

– Фил! Ты что, поехал совсем? – врывается в бредовый поток грубый, только сломавшийся бас. Рыжий бугай возвышается над Филом. У бугая в одной руке бидон с бряцающей крышкой, в другой складной стул и удочка. С реки услышал, видать, и подорвался тоже шоу смотреть, как кончают с собой вчерашние школьники, сегодняшние покойники, позарившиеся на чужую бабу.

– Я тебя понял, Фил, – цежу сквозь сигаретный дым.

Даже не заметил, как закурил, сжал зубами белый фильтр, чтобы не броситься на этого, не разорвать зубами зареванную рожу.

Дергаю его за плечи, отряхиваю, вытираю рожу краем рукава: бя, ну хоть на человека похож будет.

– Пойдем-ка, посидим в другом месте, поболтаем.

– Куда-а-а? – Сзади вырастает бравый молодчик с краской в красных лапах.

– Я это, дядька его. Да, к отцу отведу, он ему так всыпет, забудет сразу, как по х... Как от работы занятых людей отрывать.

Я не глядя вытаскиваю из кармана пару зеленых мятых бумажек, киваю – достаточно будет? Лапы принимают бумажки охотно, но несколько с недоверием. Добавляю еще одну – не задерживай, че, других дел нет?

Фил уже тербит меня за рукав:

– О Марии? Ты знаешь, где она?

– О Марии, о ней самой, – Я выталкиваю Филя вперед себя и показываю в сторону машины – туда иди.

Бабы цокают вслед нам: никак волк какой вцепился в нашего ягненка. Мужичок с бородой даже выкатывается нам наперекор, выпячивает грудь, набирает воздух, чтобы выдать тираду, что не отпустит мальчонку никуда до приезда участкового. Фил смотрит на меня с надеждой. Глаза у Филя прозрачные, с длинными ресницами. Такие шлюхи клеят спецом, а у него от бога опахала.

– Не переживай, дядя, – говорю я мужичку. И заодно всем, кто выстроился на берегу. – Уж я-то послежу, чтоб он не утонул.

* * *

Столики в «Причале» покрыты клеенкой в стиле «розовые розы – золотые кружева». Розовые, как когти и свистки у телок, которых можно заказать сюда на вечерний променад. Гога таких любит, чтобы хихикала, задом виляла, не то женщина, не то заискивающая псина.

Но сейчас на террасе пусто, ради нас даже не включают музыку. Анфиса, официанточка с тихим бархатным голосом, зачитывает, чего нет в меню, а потом осторожно предлагает:

– Водочки?

– Ее самой, – соглашаюсь я и в упор смотрю на Фила. – Две по пятьдесят сообрази, пожалуйста.

Глаза у Фила округляются. Рожу он уже успел помыть в ресторанном сортире, стал даже на человека похож. На очень опухшего и жалкого, но все же человека.

Рассматривать его особо нет смысла, все ж не стодолларовая купюра. В дело таких не берут, закладки делать не станет, башлять тем более. Под слоем грязи оказались дорогие, явно ненашенского пошива шортики, и футболка с вышитым крокодилом стоила явно не малой беготни. Пижончик. Чей-то дорогой сынок. Вся жизнь впереди. Если сегодня расколется, конечно.

Анфиса возвращается, рюмки звонко брякают по столу, киваю на Фила, обе ему ставь. Фил отпирается недолго. Зыркает. И глушит одну за другой.

Я вижу, как водка ударяет ему в голову, взгляд мутнеет, Фил улыбается, кладет голову на руки и смотрит на меня почти мечтательно – только спроси, я все как на духу. Ага, готов товарищ.

– А мы ведь столько с ней планов настроили. Тьма-а. Я бы и с мамкой ее договорился потом, попозже. Пришла бы к ним Мария с красным дипломом, разве мамка не оценила бы?

Я слглатываю и сжимаю челюсти. Молчи. Молчи, пусть его несет.

– Я ведь подслушал, куда Графиня ее документы подавать собралась. Подслушал и записал, на бумажечке ма-аленькой.

– Графиня?

– Ну эта, Графова, русичка.

Киваю. Помню эту старую суку.

– Мария вечно – Графиня то, Графиня это, она меня пристроит, я ей как дочь. Забыла только, что Графиня свою дочь – эх! А разве можно хоронить пустой гроб? Но Мария если в голову вдолбила, то уже не переубедишь.

Это моя лачи, хочу усмехнуться я. А потом вспоминаю «мы». «Мы на дворе», «сбежать».

– Слышь, а у тебя какие дела с Марией? Ты что, до ней домогался?

– Так я же люблю ее. – Фил вдруг улыбается, ясно, детски, опахала ресниц подрагивают.

Я чувствую, как по мне ползет жар. Не вмазать ему, очередной приставучий гаджо, очередной мудозвон, вьющийся вокруг моей Марии. Моей. Где бы она ни была сейчас. Найду. Достану. Привяжу, если надо будет. Но объясню, чья она теперь женщина.

– И она любит меня.

– Хохавэс¹⁴! Слышишь, ты, тебе бы только к себе внимание привлечь!

Фил смеется и падает лицом на руки.

– Эй, псиладо, ты со мной не шути! Я тебя на ремни порежу, – шиплю, вцепившись в его худосочные запястья.

– А я и не шучу. Она хотела сбежать, ко мне. И Графиня ей обещала помочь. Встретить ее у вокзала, денег дать, спрятать, а то и увезти сразу, да, увезти, чтобы не было вокруг нее таких, как ты, уродов, цыганчи вонючей, со своим романипэ. – Фил кривляется, скалится, как волчонок, попавшийся в капкан.

– Завали хлебало, псиладо. Пока пальчики тебе не пересчитал. – Я стискиваю его руку, так что Фил вскрикивает и опускается на стул.

Краем глаза поглядывал на Анфису. Она деловито листает свой блокнотик, будто пытается не забыть, кто что заказал в мертвом утреннем кафе. За спиной у нее стоит, подбоченясь,

¹⁴ Ты врешь! (цыг).

Гога, шепчет что-то в ее маленькие ушки, а сам поглядывает на меня – подсобить не надо? Делаю знак – пока нет, но будь поблизости, скоро кончу с этим.

Наклоняюсь так, чтобы Фил, сдавшийся, втянувший шею, глаза на мокром месте, почувствовал мое дыхание.

– Говори все, что знаешь. Соврешь – отправишься к Графовой-младшей на тот свет. Понял?

Фил закрывает глаза. Кивает.

– Когда видел последний раз?

– Утром пятого. В школе.

– Что говорила тебе?

– Что пойдет к Графине, в смысле к Александре Федоровне, вечером. Что берет с собой вещи на первое время. А потом она весточку передаст, где ее искать.

– И?

– Не передала. И Александра Федоровна после того, как будто еще больше поехала кукушкой, она и так странная была, ходила между рядами, нараспев читала про толстовский дуб и горе простого русского народа. А потом кто-то стукнул, и ее на пенсию списали. И девочки, другие, из нашего класса, тоже перестали ходить. Сначала Бондарь, потом Хлебникова. Я потом понял, что каждая, перед тем как пропасть, к Александре Федоровне на продленку ходила к экзаменам готовиться дополнительно. Но Александра Федоровна-то ни при чем, конечно, она, может, и поехавшая, но не ест же она их в самом деле.

А может, и ест, думаю я. И наконец вспоминаю эту Александру Федоровну – сама будто спицу проглотила, прямая, сухая, хоть и роста мелкого, а голос громкий, спорить страшно. Я до ее классов не доучился, но запомнил, как она детвору по коридорам шугала.

– И что же, после ты Марию не видел?

Фил трясет головой. Из уголков глаз опять текут слезы.

– Честно говорю, как она ушла с Графиной, так все, третья неделя пошла, а она как сквозь землю. Не знаю, может, поймали ее, может, замуж выдали.

– Не выдали. А должны бы.

– Не должны, она не хотела! – Фил оживает и вновь дергает рукой, но ничего не выходит.

Окликаю Гогу, пора, надо с ним заканчивать.

– Это не твоего ума дело, гаджо.

Гога подходит и кладет лапы Филу на хребет. Я разжимаю руки, и он рывком поднимает парня, скручивает и тащит в машину. Вот как со щенками следует обращаться.

– У-у, цыгане паршивые! – верещит Фил.

– Поучи его, но не слишком, лады?

Гога заталкивает Фила в салон. Связывает руки за спиной.

– Ножки-ручки не ломай, понял? Ты же не Кособочка.

Гога хохочет и показывает большой палец. Люблю садиста этого, скоро у него работенки прибавится.

Шлепаю купюрами о клеенку, сегодня стопка по цене бутылки. Зато Анфиса болтать не будет.

* * *

Паркуюсь у библиотеки и иду пешком. Солнце желтой лампочкой висит между соснами. Светло как днем, хотя на наручных уже семь вечера. Часики японские, фирменные. Снимаю осторожно и убираю в карман. Не дело такие лишний раз трясти. Суставы на руках ноют, шелкают, не терпится пересчитать старушечьи ребрышки. Старая сука. Сидит, попивает чаек. Куда

она дела Марию? Не сожрала ведь, в самом деле. А может, и Мария сидит у нее за столом сейчас? Нэ кучеса чаюри¹⁵, поиграла в сильную-независимую, и хватит.

Дом, желтый, с пояском облупившихся ромбов над окнами, виднеется за лысыми кустами ивы. Ива цветет только, не зазеленела, и сквозь нее, как через ржавую решетку, просвечивает и вид на улицу, и на реку, и на прозрачное закатное небо. Я выхожу на дорогу, закуриваю, швыряю спичку в лужу, краем глаза поглядываю на дом. Горький дым щекочет нос, во рту вяжет.

А ну-ка стоп. Перед домом, перед занавешенным от солнца крыльцом – топчется белое, рогатое и грязнобокое сборище коз. А рядом с козами, у колонки, весело помахивает хворостинной бабища, ноги с две моих руки.

Да блядь... Присаживаюсь на бордюр. Одну сигарету. Вторую. Пасутся. Мекают, жрут едва проклюнувшуюся зелень на клумбах. Третья сигарета жжет пальцы. Смотрю, как солнце опускается в реку. Докуриваю. Сплюываю в траву. По дороге пылит местечковая пьянь, падает на бордюр напротив меня. Одноглазый, с синяком на пол-лица смотрит на меня особенно внимательно и наконец машет рукой на дом:

– Если ты к этой, Алесанне Федорне, так она не живет здесь больше.

Я снова закуриваю, делаю вид, что не вдуплюю, зачем мне эта информация.

– Говорю, не живет тут, она съехала, или ее, того, съехали. – Хихикает. – В медпункте теперь живет, в «Ласточке». Лагерное имущество сторожит.

– Имущество, тоже мне. Че там хранить, растащили ж все, – прибавляет другой, почесывая плешь на яйцеобразной башке.

– Цыц, знаток нашелся. А то я тебя, – прикрикивает подбитый, и плешивый стучит его по плечу: ладно, не кипятись, мол.

Я встаю. Рядом с плешивым каким-то макарон вырастает черный козел и пялится на меня горизонтальными зрачками. Хрен с вами. В «Причале» заждались Гога и Плоский.

* * *

Идея поохотить старую суку у школы была отличной. Браво, Плоский, вот твоя медалька, в смысле халявные два грамма порошка.

Я припарковался внаглую у берез за забором и смолю в окно.

Из открытых окон школы слышно треньканье звонка и следом за ним хлопанье дверей, топот, оклики, снова хлопанье, но уже парадных ворот, зеленых металлических с оторванной калиткой. Школота, разноцветная, крикливая, лавиной сходит по улице и следом за ними – чинно, склонив друг к другу головы, перешептываясь, идут учителя парочками, будто это какая-то процессия. Старая сука сидит на школьном крыльце. Будто только что вышла из здания и села поправить шнуровку на ботинках. Делано прощается с другими училками, замирает рядом, дожидается ответа и только потом идет дальше, собирает дань из картонных «До свидания, Александра Федоровна», «И вам доброго вечера, Александра Федоровна».

Графиня она и есть. Ждет, небось, чтоб ручку ей поцеловали. Но Плоский-то выведал уже, что в школе ее больше видеть не хотят. Выперли. Списали на пенсию. Благо, возраст позволяет. Но не гнать же ее поганой метлой со двора? Пусть сидит, любитесь, уши греет, раз ей так не хватает рабочих будней.

Гога сидит на заднем сиденье. Лысая башка упирается в потолок, и я вижу, как его морщит от этой постановой. Он-то ученый у нас, до восьмого класса дотянул и в техникуме железнодорожном срок отмотал. Только помогло это не особо, если только рельсы от шпал отличать научился.

¹⁵ Ну хороша девочка (цыг).

– Гога, закурдян¹⁶, не пялся так. Не хочу, чтобы заметила, что ее пасут.

Гога послушно отворачивается, а я вдруг понимаю, что на школьном дворе Графини уже нет.

– Как сквозь землю! – шепчет Гога, но тут же осекается. – Может, глянем сортиры, может, она туда слиняла, там короткий путь к реке.

И правда, за уличными сортирами и раздевалкой, где начинается отсыпанная песком поляна для пионербола, вышагивала Графиня. Кичка на затылке строго смотрела черным глазком заколки, одной рукой она прижимала к животу выдавший виды кожаный портфель, будто бы мужской даже. А другой... Другой она держала за локоток тоненькую девочку, семиклассницу или даже помладше. Прыг-скок, прыг-скок, взлетают ее рыжие косички. Семенит следом, как утенок, смотрит Графине в рот.

Это уже интересно. Подмигиваю Гоге в заднее стекло, мол, выметайся из машины и давай за ними пешком. Гога большой, с головой как яйцо, вдруг сжимается, быстро натягивает шапку, черепашим движением – голову в плечи. Походка делается куцая, что у твоего прибухнувшего безобидного соседа. Такой притулится к колонке, к водосточной трубе, к сосне, в конце концов, – не заметишь, не заподозришь.

А сам я даю руля и выкатываю на Сиверское. Переезд закрыт, на шоссе вязкая пробка из первых дачников, нервных водил и шныряющих мимо перехода бабулек, тащащих на рынок свою скромную рассаду.

Мне за переезд не надо, поэтому я снова веду машину к «Причалу». Так жить нельзя, в сплошной трезвости и тупых погонях за всякой мразью.

* * *

За «нашим» столиком под козырьком уже ждет Плоский. Хрюкает и ковыряется в тарелке с заливным. На столе – толстенное портмоне, мой подарок за выслугу лет. На глазок вижу, набито под молнию, значит, хорошо живем, сытно, жирно.

Плоский замечает меня, подскакивает, как школьник, тычет взглядом в портмоне, снова хрюкает, довольный наваром. Хлопаюсь на стул перед ним. И замечаю придвинутый диванчик – телок позвал, значит.

Бедра у телок плотные, липкие от сидения на дерматине. От блондинки пахнет сладким, тошнотным, как от банки колы. А от темненькой не пахнет ничем, будто она и не баба вовсе, а литой плоскогрудый манекен. Но в ее смуглых круглых плечиках, в черном пушке над высоким лбом есть что-то от моей лачи, от моей шлюшки и Масхари¹⁷.

Я мну тощие безволосые бедра, задираю юбку почти до ушей, ей-то что, какой стыд показать, что под этой полоской джинсы. Мну и шепчу, больше на автомате: «Мм, сладкая щелка, покажешь? Пойдем-ка в авто». Телка кивает: конечно-конечно, поднимается, вихляет задом прям перед лицом, останавливается:

– Вдвоем будете? В обе дырочки – двойная цена.

Это Гога, запыхавшийся, лысина блестит в свете фонаря.

– Там херь какая-то, реально чертовщина, – только и говорит Гога и ухает на диван.

Блондинка, едва не раздавленная, ойкает, но Плоский оттесняет ее от стола: свали, и ты тоже уже не нужна, обе – вон отсюда. Бабы кудахчут что-то на недовольном, но, получив по паре розовых купюр, сваливают.

– Что за херь? – наклоняюсь к Гоге. И вижу пупырышки озноба на его заросших щеках.

¹⁶ Заебал (цыг).

¹⁷ Богородица (цыг).

* * *

Электрический свет окрашивает комнату в желтый. Гога смолит в углу на табуретке у окна, загораживая проходим силуэт Графини, привязанной к стулу проводом от кипятильника. Сам кипятильник болтается над полом и иногда звонко тюкает по облезлому деревянному полу.

Щеки желтые, со следами румян, Графиня изо всех сил пытается не смотреть на меня. Пялится в угол с пустой полкой и огарком тонкой, церковной, что ли, бурой свечи. Щеки разлиновали мокрые дорожки. Лицо у нее желтое, сморщенное, не лицо, а какое-то подвявшее яблоко, сорт «осенняя полосатка».

– Ты че там за чертовщину в лесу устраиваешь?

Пинаю стул так, чтобы Графиня подпрыгнула, но не упала спиной назад. Не время пока для увечий.

– Мои проследили за тобой. Говорят, у тебя в лесу там...

Графиня переводит на меня темные внимательные глаза.

– А что у меня там?

– Девочки. Пропавшие, типа. Те, из-за которых мусора весь район облазали.

– Хороши, они, да, – Графиня хихикает. – Как ты их называешь, мусора? Облазали, но не нашли. Почему же? И косточки не нашли. Ничего, ни черта. Ах, нет, черта они как раз нашли, но не поверили!

– И Мария там? Отвечай, че ты ржешь на всю округу, как кобыла.

– Не скажу! Не заставишь, не скажу ничего!

– Гога, неси, надо поучить эту суку!

Гога вытаскивает из рюкзака паяльник, кое-как втыкает в розетку и подносит к самому Графининому лицу.

– Говори, пока не нагрелся.

Графиня хохочет, так что ложечка дребезжит в пустой фарфоровой чашке. Кончик паяльника краснеет, краснеет, Графиня смеется все громче, а я вспоминаю Гогино выражение лица, когда он сидел на диване в «Причале». Как будто с него, вечно вялого, в ватной шапке из эковских понятий, слетела вдруг пелена. И на меня смотрел не отморозок с набитым «Гога» на первых фалангах. А Гоша. Гошенька Рубин, который услышал такое, что не могло уложиться в его маленькой тугодумной головешке.

– Они говорили... – прошелестел Гога. – Девочки говорили, тонко: «Пи-пи-пи, ми-ми-ми», – нет, даже «Ма-ма-ма... Мама, мамочка», – они говорили. На разные голоса. И чем ближе старая ведьма – тем громче, мамкают, мамкают, зовут: «Мама, мама, мамочка». А потом раз – и замолчали. Наверное, увидели ту, с косичками. Я почти вплотную к старой ведьме подошел, руку протянул, хотел девчонку схватить, думал, ноги переломаю, но спасу, и тут поезд. В-в-вам, в-в-вам, вагоны, да так много, один за другим, я не мог выцепить, видел только, как кусты зашуршали, задвигались, и черное что-то из них поползло, а девчонка заверещала. Я не мог разглядеть, не мог взять в толк, что там происходит, что там за кустами, да еще и грохот этот, прямо перед носом, даже сейчас в ушах стучит. Только увидел в последний раз, как косички мелькнули. – И Гога закрыл руками голову, вжал в плечи, посмотрел на меня кротко. – Я не смог добраться до нее, прости. Поезд проехал, а за поездом ничего. Пусто. Кусты пустые, я все обшарил.

Темно и тихо. Только птица надо мной какая-то крыльями прохлопала. И больше – ничего.

– Гога, остановись, убери, убери, кому говорю.

Гога непонимающе моргает, но отводит паяльник от сморщенного смехом Графинино лица.

– В жопу тебе засуну этот паяльник, если с первого раза не будешь слушать. Эй, слышишь меня? К тебе обращаюсь.

Графиня закидывает лицо к потолку, и золотые круги лампочки отражаются в ее глазах.

– А если я тебе скажу меня в лес отвести, отведешь?

– В лес? – охрипше переспрашивает Графиня.

Я киваю.

– Отчего же не отвести. Отведу.

И Графиня снова хихикает, тонко, по-бесовски. Так, что холодок пробегает по коже.

* * *

Гога остается на стреме, а я иду за Графиней. Насыпь шуршит под ее ногами в цветастых домашних тапочках. Ноги голые, синюшные от вылезших вен. Фу, противно смотреть.

По насыпи струится туман, от него кожа делается холодной, лягушачьей, неродной как будто. А может, это от непривычной тишины. Ветра нет, звуки поселка скрадывает широкая лесополоса, идущая вдоль реки до самой станции.

– Долго еще? – прочищаю горло, а то голос звучит как-то несолидно.

– До вокзала. Бывшего.

Графиня идет медленно, как будто я ей в бок тычу пистолетом. Или вовсе – сопровождаю на казнь.

На переезде у Второй платформы такая же кладбищенская тишина. И туман сгущается, так что скоро и уродские тапки, и старушечьи ноги оказываются в молоке. Пахнет гнилью, грибами, прелыми листьями. И совсем немного – железом. Может, между кустами ивняка лежит раздавленная электричкой лисица?

– Пришли, голубчик.

«Какой я тебе голубчик, слышь», – хочу прикрикнуть, но...

«Хрупь-хрупь». По насыпи идет кто-то другой. «Хрупь-хрупь». Идет нам навстречу, идет так, что дыхания не слышно, но притом так быстро, почти бежит, кое-где оступается, так что камни летят из-под его ног.

– Я тебе тут привела кое-кого. Нежданного. Негаданного. Э, подходи, не бойся.

– Мир лачо¹⁸?

Голос звенит над насыпью, и сразу узнаю его.

– Мария!

Я бросаюсь к ней в туман, гребу по нему вслепую, где же она, моя лачи? Впереди мелькает что-то темное и переливается ее смех.

– Явэн кхэрэ¹⁹! Мария! Мэ тут мангава²⁰!

– Забирай его, я разрешаю, – откликается Графиня откуда-то из тумана. И почему-то тоже смеется.

– Мария! – Что-то темное вихляется в паре шагов, вроде смуглой тонкой руки.

Я тянусь к ней, пытаюсь схватить, и тут рука, нет, Масхари, оно черное, оно дергает меня за запястье, тянет в туман, длинное, черт, насколько оно длинное? Рвусь изо всех сил, Мария все смеется, и смех ближе, ближе, боль в запястье нестерпимая, рвется кожа, связки, но плевать, лишь бы скинуть с себя эту...

¹⁸ Мой дорогой (цыг).

¹⁹ Пошли домой (цыг).

²⁰ Я тебя прошу (цыг).

Хватка ослабляется, и через секунду она поднимается надо мной в полный рост. Затылком прикладываюсь к рельсам, и в глазах темнеет. Нет, это не в глазах темно, это тварь нависла надо мной.

Мэ пхэнав, сар тут камав,
Би тиро наштык авав,²¹

– поет черная, безротая тварь с глазами-углями.

Кэ ви мэ тут камав,
Зуралэс тут камав,²²

– поет нежным голоском моей лачи, моей Марии.

Я ползу назад, оббивая позвонками бетонные шпалы, раздирая щебенкой ладони. «Ту-у-ту-у!» – предупреждает надвигающийся поезд, я делаю рывок, оказываюсь на другой стороне, отчаянно рвусь из ее лап, из ее щупалец, поезд стучит, ревет, рассекая туман, я тяну ноги на себя и чувствую, как щупальца стягивают кроссовки. Поезд врезается между нами, я вжимаю голову в плечи и кубарем лечу в кусты ивняка на противоположной от твари лесополосе.

«Ту-дух, ту-дух, ту-дух».

Бледно-зеленые вагоны сливаются в чудовищную механическую гусеницу.

Я поднимаюсь. Ощупываю штаны. На месте миленький. Вытаскиваю ствол из кармана, отлично, полный магазин.

Я вижу хвост поезда и считаю до трех.

Раз.

У меня зато пять патронов.

Два.

А у твари, быть может, девять жизней.

Три.

Я выпрыгиваю на горячие, пахнущие маслом рельсы. И смотрю на тех, кто на другой стороне. Старая сука – руки замком на груди, ноги выросли в насыпь. Тварь рядом с ней, как щенок, ластится, притуляется боком, а безликая башка пялится красными глазами.

Я целюсь. «Бах!» – тварь не двигается с места. Неужели промахнулся? Я бросаюсь через рельсы, надо попасть прямо в башку. «Бах, бах», – гильзы летят на щебенку... Выстрелы летят в цель, но тварь даже не ранена. Успеваю увидеть лишь, как она прикрывается щупальцами, словно панцирем, и отбрасывает ствол прочь. А потом щупальце бросается ко мне, я отпрыгиваю, но поздно – кончик щупальца, будто лезвие, чиркает по щеке. Я трогаю щеку и чувствую мокрое, теплое, вязкое. Хватаю из заднего кармана кастет и несусь на тварь, а тварь – на меня, тварь бьет наотмашь по рукам, так что кастет со звоном падает на рельсы, тварь скручивает мне руки, и я ору до хрипа, пинаю щупальца ногами, но они уже сжимают мне шею. Через пульсирующую боль в ушах я различаю довольный голос:

– Ну что, носи его домой, гостем будет.

* * *

От удушающей хватки твари я все время отключался и запомнил лишь бессвязные обрывки. Бетонные шпалы, сдирающие кожу. Корни деревьев, пересчитавшие мне косточки.

²¹ Я скажу, как тебя люблю, Без тебя не могу прийти (*цыг*).

²² Потому что и я тебя люблю, Сильно тебя люблю (*цыг*).

Обжигающий асфальт, кажется, снял с меня скальп. Я хочу проверить, не стал ли я сам тварью без лица, но понимаю, что не могу пошевелиться. Я лежу в углу, как мешок с говном.

Больничные белые стены. Под потолком – ниточка паутины, напротив меня – буржуйка, стол, стул и маленький сервант с фотографией в черной рамке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.